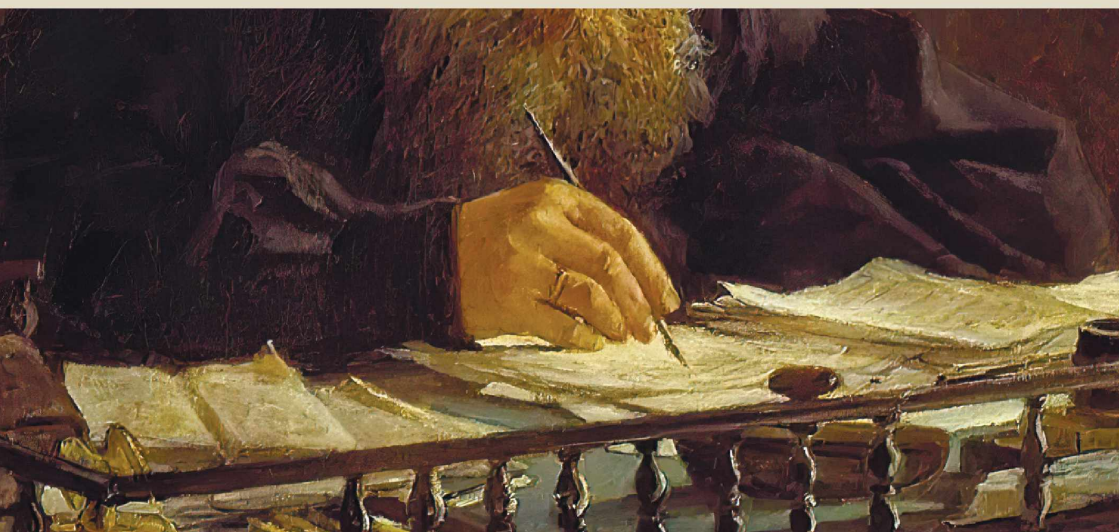


Т. Р. Копылова, Л. Ф. Килина, С. Р. Зайнуллина

Категории в русской лингвокультуре: формирование и функционирование



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Институт языка и литературы
Кафедра русского языка, теоретической, прикладной лингвистики
и русского языка как иностранного

Копылова Т.Р., Килина Л.Ф., Зайнуллина С.Р.

**КАТЕГОРИИ В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ:
ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ**

Монография



Ижевск
2025

УДК 811.161.1'271
ББК 81.411.2-006
К659

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом УдГУ

Рецензенты: д-р филол. наук, профессор, профессор каф. истории русской литературы и теории литературы ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» **Т.В. Зверева**,
канд. филол. наук, доцент каф. лингвистики ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова»
Р.А. Верняева.

Копылова Т.Р., Килина Л.Ф., Зайнуллина С.Р.

К659 Категории в русской лингвокультуре: формирование и функционирование : монография / Т.Р. Копылова, Л.Ф. Килина, С.Р. Зайнуллина. – Ижевск : Удмуртский университет, 2025. – 206 с.

ISBN 978-5-4312-1278-9

DOI: 10.35634/978-5-4312-1278-9-2025-1-206

В монографии рассматриваются вопросы, связанные с формированием категорий в русской лингвокультуре, с точки зрения дискурсивно-когнитивной научной парадигмы в языкознании. Представлены диахронические исследования языковых и модусных категорий. Доказывается обусловленность специфики функционирования категорий особенностями русской ментальности, развивающейся под влиянием религиозно-философской мысли Древней Руси.

Монография предназначена для филологов, журналистов, преподавателей дисциплин, связанных с историей языка, теорией языка, лингвокогнитологией, лингвокультурологией.

УДК 811.161.1'271
ББК 81.411.2-006

ISBN 978-5-4312-1278-9
DOI: 10.35634/978-5-4312-1278-9-2025-1-206

© Копылова Т.Р., Килина Л.Ф.,
Зайнуллина С.Р., 2025
© ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет», 2025

ПРЕДИСЛОВИЕ

Под категорией в лингвистике в самом общем виде понимается любая группа языковых элементов, выделяемая на основании какого-либо общего свойства. Традиционно выделяются грамматические категории, например падежа, одушевленности / неодушевленности, вида и др., и понятийные категории, «замкнутые системы значений некоторого универсального семантического признака или же отдельного значения этого признака безотносительно к степени грамматикализации и способу выражения» [ЛЭС, с. 216].

В когнитивно-дискурсивной парадигме основополагающим в выделении видов категорий становится когнитивный подход, основанный на познании окружающего мира, закреплении представлений о нем в национальном языке. С этой точки зрения категоризация – базовая ментальная единица языка, содержащая информацию высокой степени обобщения [Кубрякова, 1996], «особым образом организованный, разноаспектный и многоуровневый динамический процесс получения информации из окружающей среды и ее структурирования в человеческом сознании в виде лингвокогнитивных категорий» [Дзюба, 2018, с. 206]. Лингвокогнитивная категория понимается как концептуальное объединение объектов [Болдырев, 2005, 2006, 2018]. И концепт, и категория – ментальные образования, кванты знаний о мире. Категория обладает более высокой степенью абстракции, сложной структурой, объединяет гомогенные множества концептов [Шафиков, 2007].

Категорию отличает наличие категориальных признаков – «таких существенных характеристик объекта реального / ирреального мира, которые позволяют причислить познаваемый человеческим сознанием феномен к подобным ему объектам и наделить его общим для объектов данной группы родовым именем (т. е. именем категориальным)» [Дзюба, 2018, с. 213].

На основании общих признаков все категории условно можно разделить на две большие группы: категории, отражающие знания о языке, и категории, отражающие знания о жизни [Кубрякова, 1996].

В рамках данного исследования рассматриваются особенности формирования обозначенных категорий, обусловленные спецификой русской лингвокультуры.

Одним из ярких примеров категорий, отражающих знания о языке, является категория языковой устойчивости, или стабильности (глава I). Под языковой устойчивостью понимается «ограничение изменчивости знака коллективом носителей языка вследствие его социальности» [Жеребило, 2010]. Устойчивость обеспечивает преемственность языковых явлений и непосредственно связана с эффективностью общения, основанной на узнаваемости и понятности элементов, несущих информацию носителями той или иной лингвокультуры.

Основным средством реализации категории языковой стабильности является функционирование устойчивых сочетаний, отличающихся воспроизводимостью (В. В. Виноградов, Н. М. Шанский), предсказуемостью компонентов (В. Л. Архангельский, С. Г. Гаврин, И. А. Мельчук).

Обращение к летописям позволяет рассмотреть, как формировалась категория устойчивости в древнерусском языке, выявить закономерности и особенности функционирования устойчивых сочетаний (или формул) с учетом жанрово-стилевой принадлежности текста. Так как в древнерусский период говорить о сформированности стиля и жанра не приходится, были выделены типы текстов по следующим основаниям: тематика фрагмента, цель включения фрагмента в общее повествование, его традиционное языковое оформление. Таким образом, анализ устойчивых формул производился в деловом (представленном текстами документов), воинском (соотносимом со светской традицией), агиографическом (соотносимом с конфессиональной традицией) фрагментах.

Кратко охарактеризуем каждый тип.

1. Деловой: в центре внимания автора находится та или иная деловая ситуация. Этот тип с определенной долей условности можно соотнести с современным официально-деловым стилем.

2. Воинский: изображается историческое событие, связанное с борьбой русского народа против внешних врагов (в основном печенегов и половцев), а также с княжескими усобицами; центральный герой – обычно реальная историческая личность, как правило, князь. Многие фрагменты данного типа представлены развернуто, они напоминают воинские повести, а их язык сближается с языком художественной литературы.

3. Агиографический: в качестве главного предмета изображения выступают деяния святого или его жизненный путь в целом; предполагает использование определенных мотивов, например, мотивов наставничества, пророчества и др. Поучительный элемент, связанный с распространением идей новой веры, диктует выбор языковых средств, характерных для публицистики.

Традиционными для деловых и воинских фрагментов летописей являются глагольные устойчивые сочетания. Агиографические фрагменты противопоставлены деловым и воинским, поскольку для них языковым средством типизации являются именные формулы, представленные в двух разновидностях – парной и атрибутивной.

Отметим, что традиционные формулы уже в древнерусский период начали употребляться в текстах определенной жанрово-стилевой направленности для описания типичных, повторяющихся ситуаций. Некоторые древнерусские сочетания оказались настолько устойчивыми, что вошли во фразеологический фонд современного русского языка и легли в основу категории языковой стабильности, имеющей развитую репрезентацию в русской лингвокультуре.

Помимо языковых категорий в лингвистике выделяются категории модусные, или интерпретирующие, раскрывающие свое содержание в коммуникативном взаимодействии.

Модус – «динамичное и полифункциональное явление, которое определяется широтой самой ментальности человека» [Кобрин, 2003, с. 16]. Модус прагматически ориентирован, связан с интенциональностью, является результатом «тактики преднамеренности» [там же]. Основная функция модуса – проявление субъективности по отношению к реальной действительности.

Н. Н. Болдырев сопоставляет лексические, грамматические и интерпретирующие категории как некие этапы познания мира: чувственное восприятие, абстрактное мышление и речемыслительная деятельность, являющиеся одновременно «этапами формирования концептуальной системы человека, результаты которой и закрепляются в трех типах, или системах языковой категоризации» [Болдырев, 2006, с. 6]. Таким образом, интерпретирующая категория проявляется только на уровне общения и, вбирая в себя лексические и грамматические категории, реализуется на разных языковых уровнях. В лингвистике выделены интерпретирующие категории отрицания, модальности, экспрессивности, аппроксимации и др.

К универсальным признакам интерпретирующих категорий, релевантных для данного исследования, относим следующие [Болдырев, 2018]:

1. Функциональность. Содержанием модусной категории является функция; средства лексической и грамматической категоризации привлекаются для анализа, но они вторичны по отношению к функции.

2. Вторичность статуса, проявляющаяся в структурном и содержательном аспектах, где структурная соотнесенность обусловлена как денотативно, так и лингвистически.

Так, сочетание *безмолвная тишина* строится на прототипе *тишина*, но категоризация данного явления осуществляется по принципу концептуальной интеграции, а не путем простого суммирования двух содержаний (глава III). В русском языковом сознании *безмолвная тишина* соотносится с глубокой, абсолютной тишиной, когда природа застывает в своей неподвижности, статичности, подчеркивая мимолетность настоящего, непостоянство (*Все замерло в безмолвной тишине*). Безмолвная тишина подчеркивает незначительность человека по сравнению с миром природы, его малость, поэтому звуки, издаваемые человеком, *лишь тонут в безмолвной тишине*. От безмолвной тишины *захватывает дух, восторг наполняет душу человека*. От нее *веет прохладой вечности*. Безмолвная тишина может внести покой в душу человека, а может и насторожить, вызвать

чувство беспричинного страха. *Безмолвная тишина* – это отдельный концепт, отражающий все тысячелетнее познание человеком феномена тишины и молчания. Мы не можем сказать *молчаливая тишина, молчаливое безмолвие, тихое безмолвие, безмолвное молчание*. Для носителей русской лингвокультуры это лишено смысла, избыточно. Безмолвная же тишина понятна, вызывает множество ассоциаций, безмолвная тишина знакова для носителей русской культуры.

3. Содержательная соотнесенность. Предполагается содержательная неопределенность самого модусного концепта, формирующего категорию. Так, устойчивые сочетания в полной мере проявляли свое содержание в процессе функционирования. Например, единица *любовь* входит в структуру таких формул, как *дѣяти любовь, створити любовь, имѣти любовь*, в зависимости от контекста реализуя значения ‘прелюбодействовать’, ‘заключить мирный договор’, ‘жить в согласии’.

4. Размытость содержательных границ; значения категории реализуются разными средствами всей языковой системы.

В монографии анализируется специфика формирования двух модусных категорий: категории оценки (глава II) и категории молчания (глава III).

Понятия оценки и оценочности являются базовыми в лингвистике. Так, М. Р. Желтухина определяет оценку как «акт человеческого сознания, заключающийся в сравнении предметов, сопоставлении их свойств, определении роли в жизнедеятельности субъекта и его результатов, закрепляемых в сознании и языке в виде позитивного, негативного и нейтрального отношения» [Желтухина, 2003, с. 223]. Н. Д. Арутюнова говорит о том, что оценочное значение «противостоит дескриптивной семантике, фиксирующей воспринимаемые человеком черты объективного мира», такое значение «отлично и от тех предикатов, которые обозначают свойства невидимых миров – психического и физического», парадокс оценки состоит в том, что аксиологические концепты (ценности) «в одно и то же время зависят от внешнего мира и независимы от него» [Арутюнова, 1988, с. 57].

Таким образом, оценка – результат ментальной деятельности человека, который определенным образом проявляет свое отношение к тому или иному объекту, поэтому под оценкой также понимают «мнение о важности, весомости, ценности, нужности, полезности, целесообразности, эстетичности, этичности и т. д. (одним словом, о значимости) для человека того, что обозначается оценочными предикатами» [Васильев, 2006, с. 249]. В данном случае речь идет об отношении, которое Е. М. Вольф называет ценностным: «Оценочное высказывание, даже если в нем прямо не выражен субъект оценки, подразумевает ценностное отношение между субъектом и объектом» [Вольф, 1985, с. 23].

Оценка связана с ценностью и нормой. Н. П. Скопич в структуре оценки выделяет две стороны, одна из которых представляет фиксацию «некоторых объективных характеристик предметов, свойств, процессов и т. д.», а вторая – «отношение субъекта к объекту» (одобрение, осуждение, расположение, неприязнь и т. д.) [Скопич, 2007, с. 157]. Первой стороной оценка тяготеет к знанию, а второй – к норме, которая является общепризнанным правилом, направляющим и контролирующим деятельность человека, «ее соответствие интересам и ценностям общества или отдельных групп людей» [там же].

Мы, вслед за учеными-лингвокогнитологами, определяем категорию оценки как лингвокогнитивную, модусную, раскрывающую свое содержание в процессе создания текста субъектом речи и его интерпретации. С этой точки зрения под категорией оценки понимается особый ментальный акт как результат взаимодействия человека с окружающей его действительностью, который проявляется в различных оценках: аксиологических, алетических, экзистенциальных, пространственных, временных и др. [Ильина, 1984, с. 2]. Оценочность антропонимична по своей сути и является неотъемлемым компонентом структуры речевой деятельности человека.

Категория оценки достаточно часто становится объектом исследования. Отметим единодушие ученых: данная категория реализуется в речевой деятельности системой разноуровневых языковых средств [Болдырев, 2009; Маркелова, 1996; Кобрина, 2006 и др.].

Отсюда категория оценки понимается как «совокупность разноуровневых языковых единиц, объединенных оценочной семантикой и выражающих положительное или отрицательное отношение автора к содержанию речи» [Кожина, 2011, с. 139].

В лингвистике существуют разные подходы к исследованию категории оценки. Большинство исследователей рассматривают оценку как модальную рамку. Кроме субъекта и объекта, которые связаны оценочным предикатом, в модальную рамку входят шкала оценок и стереотипы, на которые ориентирована оценка в социальных представлениях коммуникантов [Кожина, 2011, с. 140].

Категория оценки может рассматриваться как вид модальности. Так, А. Вежицкая отмечает, что оценка накладывается на дескриптивное содержание языкового выражения: «Высказывания, включающие оценку или другие модальности, содержат дескриптивную компоненту и недескриптивную, т. е. модальную компоненту, причем первая описывает одно или несколько возможных положений дел, а вторая высказывает нечто по их поводу» [Вежицкая, 1999, с. 11]. Л. Г. Смирнова подчеркивает, что оценка – это «особый тип модальности, постоянно присутствующей в языковом сознании говорящего» [Смирнова, 2010, с. 78].

С. М. Толстая подчеркивает субъективность категории оценки: «С логико-философской точки зрения сущность и специфика категории оценки в ряду других признаков предметов (и явлений) действительности состоят в том, что это признак, который не принадлежит предмету по природе, как цвет, форма или размер, он целиком привносится человеком и отражает его отношение к миру», «оценка не имеет отношения к природе предмета и выражает вердикт относительно предмета, выносимый человеком, т. е. является относительной, субъективной характеристикой» [Толстая, 2015, с. 11–32]. Ученый также указывает способы выражения оценки: специальная аксиологическая (экспрессивная) лексика, фразеология, словообразование, интонация, оценочные суждения, особые аксиологические речевые акты [там же, с. 14].

М. А. Пильгун перечисляет следующие языковые средства выражения оценочности: интонационные (на письме могут выражаться графически), аффиксальные, лексико-семантические, фразеологические, синтаксические, коммуникативные, стилистические, «основную роль в вербалике оценки играют лексические и синтаксические средства» [Пильгун, 2008, с. 29]. К лексическим средствам исследователь относит оценочную, экспрессивную, эмоциональную лексику, а также «особые эмфатические слова (усилительные частицы, вспомогательные глаголы, местоимения), лексические выразительные средства», к синтаксическим – парцелляцию, сегментацию, экспрессивные конструкции с лексическим повтором, инверсию, «восклицательность, интонационно расчлененные фразы, использование вставных конструкций, элементов разговорной речи (фразеологизированных структур) и др.» [там же]. Оценочность реализуется за счет употребления прилагательных и существительных с оценочной семантикой, характерных метафор, фразеологизмов [Джагарян, 2009]. Кроме того, некоторые исследователи предлагают различать оценку, которая фиксируется «отдельным языковым знаком на системном уровне», и контекстуальную оценку, «когда в лексическом значении слова на основе контекста или речевой ситуации актуализируется признак, имеющий особую значимость для говорящего и соответственно получающий знак “+” или “-”» [Солодилова, 2010, с. 87].

Отметим, что особенности языкового выражения категории оценки можно выявить в результате анализа текстового материала, который содержит культурно-историческую информацию и свидетельствует о ценностных доминантах того или иного этноса, иначе говоря, изучение оценки «невозможно вне системы ценностей конкретной культуры, нации, исторической эпохи, – вне того контекста, который формирует человека (языковую личность) как субъекта и объекта оценки» [Гибатова, 2011, с. 130]. Кроме того, оценочная позиция субъекта речи «детерминируется канонами, выработанными соответствующей эпохой, поэтому изучение оценки позволяет понять обобщенную ценностную ориентацию социума в определенный период его развития» [Кожина, 2011, с. 139].

Н. С. Ковалев указывает на то, что категория оценки играет ведущую роль в становлении системы оригинальных литературных текстов, служит связующим звеном между когнитивными и коммуникативными явлениями: «Связь когнитивных и коммуникативных явлений в тексте с категорией оценки обусловлена сложной системой соответствий между “вещным” миром и миром языкового содержания, опосредованных миром концептов в сознании человека и социума» [Ковалев, 1997, с. 13].

Особую роль в формировании категории оценки в русском языке играют летописи. Так, в «Повести временных лет» представлена история христианизации Руси, история усвоения русичами-неофитами христианских догм. В христианском вероучении Бог – высшее начало, совершенство, поэтому земной путь человека должен быть озарен божественной идеей, в течение своей жизни человек обязан стремиться к совершенству, т. е. к Богу, без этого стремления человеческая жизнь – это путь греха, путь к Дьяволу. Именно этой идее подчинена смысловая организация «Повести временных лет». Реализуется указанная идея на языковом уровне с помощью единиц категории оценки, которые группируются по соответствующим лексическим полям (любовь – ненависть, праведность – неправедность, грех – благочестие и т. д.), в конечном итоге все эти поля формируют макрополе добро – зло (Бог – Дьявол). Именно оценочные единицы помогают создать «текст в тексте», когда на поверхностном уровне мы считываем одну информацию (в данном случае это информация об исторических событиях и лицах), а на глубинном, идейном – совсем другую.

Мировоззренческая основа русских летописей в целом и «Повести временных лет» в частности – христианская культура; жизнь русских людей в течение нескольких столетий обусловлена религиозно-нравственными прецедентами. В задачу летописца входило не просто зафиксировать событие, но и дать ему моральную оценку, выстроить смысловые и символические параллели, которые позволят соотнести описываемое им с уже описанным в канонических текстах. Употребление единиц категории оценки является, по нашему мне-

нию, одним из способов кодирования информации, наряду с включением библейских цитат и реминисценций.

Обращение к древнерусским словарям и текстам позволяет авторам рассмотреть становление категории молчания, традиционно обозначенной в лингвистике как категория сугубо коммуникативная. Однако анализ зарождения данной категории и ее формирования позволяет сделать вывод: русское молчание больше, чем его прагматика. Развиваясь под воздействием православной картины мира, данная категория изначально имела сложную репрезентацию в русском языке: *млъчание*, *безмълвие*, *безмълвьствие*, *тихость*, *тихота*, *тишина*. Обращение к глаголам и их производным позволяет выявить компоненты значений, указывающие на отличное в их функционировании: *мълвити* ‘шуметь, волноваться’, ‘заботиться, беспокоиться’; то же, что *мласти* ‘находиться в смятении, тревожиться’, *матити* ‘медлить, колебаться, задерживаться’, *плищевати* ‘беспокоиться, волноваться’. Таким образом, *безмълвие* и *безмълвьствие* связаны не столько с отсутствием речевой деятельности, сколько с неким покоем души, отсутствием эмоций или умением их сдерживать. Идея молчания в русской лингвокультуре представлена молчанием как отсутствием речевой деятельности (прагматическое молчание) и молчанием – некой духовной практикой. Последнее сближает единицы *млъчати* и *безмълвьствовати*: *млъчати* как некая ступень к *безмълвию*, душевному успокоению, кротости и, как следствие, к тишине, состоянию благодати. Именно такое молчание, нацеленное на познание себя, бытия, Бога, граничащее с умением созерцать, ‘вникать во что-либо мысленно, разумомъ, духомъ’, становится несомненной ценностью русской культуры, частью русского мировосприятия: для русской культуры важно разделить молчание как отказ от речи, безмолвие как отказ от мирской суеты и тишину как достигнутое состояние благодати.

Исследование категории молчания актуализирует проблему ее статуса в лингвистике и вопрос о разграничении коммуникативной и лингвокогнитивной категорий.

Молчание характеризует человеческое общение в целом. Как универсальная категория коммуникации, молчание многозначно, полифункционально, оно может выступать в качестве эквивалента других коммуникативных элементов, может и не иметь альтернативы, создавая определенный коммуникативный ритм говорящего (паузу). Именно эти характеристики позволили ученым обозначить молчание как категорию коммуникации, общения. Но коммуникативная категория, по мнению многих исследователей, ограничена речевой деятельностью: она упорядочивает знание об общении, речи [Попова, Стернин, 2002], ее содержание осуществляется в виде отдельного речевого действия [Дементьев, 2006; Горбачева, 2006].

В русской же культуре молчание – одна из значимых констант национального самобытия, что и находит отражение в русском языке, исторически складывающемся под воздействием различных факторов, прежде всего под влиянием средневековой религиозной философии. Молчание полностью раскрывает свой потенциал только в координатах культуры в целом. Это и дает основание обозначить молчание как категорию лингвокогнитивную, отражающую особенности восприятия и интерпретацию молчания носителями определенной лингвокультуры.

В русской лингвокультуре категория молчания:

- обладает традиционной ментально-исторической неповторимостью;
- отличается выраженной лексико-семантической и эмоционально-оценочной эксплицированностью;
- имеет развитую систему категориальных имен-репрезентантов, культурно обусловленных;
- представляет собой уровневую систему, элементы которой выстраивают определенную иерархию: она состоит из концептов, имеющих в свою очередь развитую лексическую объективацию в русском языке (*безмолвие, тишь, тишина, безмолвная тишина, пустота, ничто* и др.), и в то же время является элементом метакатегорий (человек, духовность, общение, вера, Бог и мн. др.);

– формируясь под воздействием многих факторов, обладает высокой степенью абстракции, обобщения; отличается многоплановым проявлением как на коммуникативном уровне, так и на аксиологическом, когнитивном;

– характеризуется общеизвестностью, статичностью, устойчивостью.

Монографическое исследование состоит из трех глав.

Глава I «Категория языковой устойчивости: особенности формирования». Автор – кандидат филологических наук Зайнуллина Саида Радиковна. На материале «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку проводится исследование устойчивых сочетаний, которые уже в древнерусский период начали употребляться в текстах различной жанрово-стилевой направленности для описания типичных, повторяющихся ситуаций. Некоторые древнерусские сочетания вошли во фразеологический фонд современного русского языка и знакомы большинству его носителей.

Анализ устойчивых составных единиц проводится в зависимости от типа летописного фрагмента, а также от их структурно-семантических особенностей. Наиболее подробно в главе рассматриваются традиционные для деловых и воинских фрагментов «Повести временных лет» глагольные сочетания. Предикативные сочетания, в отличие от глагольных, выступают исключительно в воинских частях текста. С этой точки зрения фрагменты агиографического типа противопоставлены деловым и воинским, поскольку для них средством типизации являются не глагольные, а именные устойчивые единицы, представленные в двух разновидностях – парной и атрибутивной.

Глава II «Категория оценки и ее реализация в древнерусских летописях». Автор – кандидат филологических наук, доцент Килина Лилия Фаатовна. В главе рассматриваются средства и способы выражения категории оценки в летописном тексте: оценочные единицы, употребление которых свидетельствует о развитии образности русской речи и системных отношений между лексемами, а также о формировании концептуальных аксиологических понятий, суждения (в том числе цитаты), которые систематически включаются в текст и помогают

передать определенное отношение к тому или иному факту истории. Так, описание исторических событий в «Повести временных лет» сопровождается смысловыми и символическими параллелями, позволяющими читателю соотнести то, о чем идет речь, с религиозно-нравственными прецедентами, приведенными в канонических текстах. Ценностная система в «Повести временных лет» носит теоцентрический характер, поэтому оценка здесь часто является категоричной.

Глава III «Категория молчания: национально обусловленная специфика формирования». Автор – доктор филологических наук, доцент Копылова Татьяна Рудольфовна. Сопоставительные исследования с польским языком проведены в соавторстве с Килиной Лилией Фаатовной. В главе представлен анализ теории молчания в науке о языке, сделан вывод о расширении молчания как предмета исследования в когнитивно-дискурсивной парадигме. Молчание как нулевой знак способно раскрывать свои смыслы только в контексте национальной культуры. Русское молчание имеет богатую фиксацию в языке, которая складывалась исторически под воздействием различных социокультурных и религиозно-философских факторов. Обращение к испанскому и родственному польскому языкам позволило выявить универсальное и специфичное в структуре категории и обозначить молчание как сложное коммуникативно-культурное образование высокой степени обобщенности, отличающееся взаимобусловленностью языкового, когнитивного, аксиологического и коммуникативного уровней.

Авторы выражают глубокую признательность рецензентам и коллегам, научный диалог с которыми способствовал написанию этой книги: доктору филологических наук, профессору Т. А. Воронцовой, доктору филологии, профессору Гранадского университета Э. Керо Хервилья, доктору филологических наук, профессору Т. В. Зверевой, кандидату филологических наук Р. А. Верняевой, кандидату филологических наук, доценту Е. И. Колосовой.

Авторы

ГЛАВА I. КАТЕГОРИЯ ЯЗЫКОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

1.1. Понятия «стиль» и «жанр» с точки зрения синхронии и диахронии

Каждый отдельно взятый этап развития языка является частью его истории. Любое явление современного русского языка также объясняется исторически. Поэтому диахронический подход к изучению лингвистического материала не может ограничиваться простой констатацией тех или иных фактов, он непременно предполагает «наличие объяснения того, как и почему совершались те или иные преобразования» [Абдулхакова, 2012, с. 4]. В связи с этим в лингвистике встает вопрос о необходимости выделения двух разделов внутри исторической науки о языке: первый включает дисциплины, изучающие строй языка (фонетику и орфографию, грамматику, семасиологию), второй – дисциплину, изучающую употребление языка (стилистику). Данную идею выдвинул профессор Г. О. Винокур в статье «О задачах истории языка» [Винокур, 1959]. Ученый отвел стилистике особое место и подчеркнул, что «в отличие от прочих отделов истории языка, стилистика имеет дело не с одной, а с многими системами» [Винокур, 1959, с. 223].

Стилистика имеет непосредственно отношение к выбору того или иного варианта употребления. Не случайно В. М. Марков в «Заметках по исторической стилистике» определяет стилистику как «область знания, которая исследует различные формы проявления сознательного отношения к языку» [Марков, 2001, с. 149]. «Сознательность» подразумевает, в частности, наличие у автора произведения определенных установок, которыми он руководствуется при написании текста. Авторская интенция в конечном итоге играет решающую роль в выборе того или иного языкового средства, а значит, и в определении стиля. В связи со сказанным исследование особенностей функционирования языковых единиц в древнерусском тексте в зависимости от жанрово-стилевых особенностей памятника представляется нам перспективным.

В результате изучения научной литературы, касающейся историко-стилистической проблематики, мы обнаружили недостаточную разработанность системы понятий, необходимых для описания жанрово-стилевого своеобразия древнерусских текстов. Ситуация осложняется еще и тем, что на современном этапе развития языка и литературы термины *стиль* и *жанр* известны в нескольких значениях.

Стиль – понятие не одномерное: это и образ искусства, и совокупность приемов использования языковых средств, и манера вести себя, говорить, одеваться и др. Лингвистический термин *стиль*, в свою очередь, имеет несколько словарных дефиниций: 1) разновидность языка, характеризующаяся особенностями в отборе, сочетании и организации языковых средств в связи с задачами общения (*стиль языка, функциональный стиль*); 2) совокупность приемов использования средств языка, характерная для какого-либо писателя, произведения, жанра (*стиль Пушкина, стиль «Евгения Онегина», стиль романтиков, стиль басни, стиль фельетона*); 3) отбор языковых средств по принципу экспрессивно-стилистической их окраски (*стиль книжный, стиль официальный, стиль торжественный, стиль сатирический, стиль юмористический*); 4) построение речи в соответствии с нормами словоупотребления и *синтаксиса* (*стиль искусственный, стиль небрежный, стиль простой, ошибки в стиле, работать над стилем*) [Розенталь, 1985].

Для синхронного лингвистического исследования наиболее актуальным является понимание стиля как стиля функционального – исторически сложившегося типа функционирования языка, который присутствует в сознании говорящих, представляет собой крупные композиционные типы речи и создается под влиянием комплекса базовых экстралингвистических стилеобразующих факторов. Понятие функционального стиля неразрывно связано с понятием нормы литературного языка: текст только тогда соответствует тому или иному стилю, когда несет в себе черты, обязательные для этого стиля. Поэтому, думается, время складывания системы современных функциональных стилей следует соотносить со временем появления русского литературного языка как нормированной, устойчивой, об-

щеобязательной системы. Возникновение такой системы традиционно связывают с именем А. С. Пушкина, хотя известно, что «основы нормализации русского литературного языка заложены великим русским ученым и поэтом М. В. Ломоносовым», а также другими деятелями эпохи классицизма [Виноградов, 1978, с. 48].

При изучении функциональных стилей русского языка в диахроническом аспекте мы неизбежно сталкиваемся с рядом трудностей. Главная сложность состоит в том, что возможности стиля напрямую зависят от границ нормы, а «норма чем далее от нас во времени, тем все неопределенней по очертаниям» [Колесов, 1990, с. 17]. В связи с этим «говорить о функциональных стилях (в современном понимании стиля) применительно к древнерусской и старорусской речи не приходится» [Крылова, 2011, с. 87].

Термин *стиль* нередко можно встретить в исследованиях, касающихся средневекового периода, однако исследования эти не столько лингвистические, сколько литературоведческие, и данный термин определяется в них как определенная манера изображения мира и человека в соответствии с той или иной традицией. Именно таким смыслом наполнено понятие ‘стиль’ в терминологических сочетаниях *стиль монументального историзма* и *эпический стиль* у Д. С. Лихачева. Во вступительных замечаниях к труду «Человек в литературе Древней Руси» ученый замечает: «Здесь и в дальнейшем я говорю о стиле так, как говорят о стиле искусствоведы: в широком значении этого слова. Я говорю о стиле литературы, а не о стиле литературного языка» [Лихачев, 1970, с. 3]. Действительно, «вопрос о характере стилевой дифференциации и стилевой системе древнерусского языка остается открытым в большей степени, чем другие вопросы, связанные с языковой ситуацией в Киевской Руси» [Горшков, 1983, с. 107].

О необходимости адаптации лингвистических определений стиля к особенностям древнерусских текстов пишет Н. С. Ковалев, который считает, что стиль древнерусского языка – «совокупность реализованных в литературном тексте устойчивых способов применения языковых средств (книжных и устных) в соответствии с принятой автором ориентацией на литературные тексты-образцы» [Ко-

валев, 2001, с. 28]. Думается, что именно таким содержанием следует наполнять термины стиль и стилистический в их применении к языку древнерусских произведений.

Особого внимания заслуживает вопрос об определении границ и такого общефилологического понятия, как «жанр», а также вопрос о выделении жанров в древнерусской литературе.

В настоящее время под жанром в лингвистике понимается «род, разновидность произведений в составе художественной литературы, за которым в известные исторические эпохи могла закрепляться та или иная стилистическая разновидность языка», а также «род, разновидность речи, определяемая данными условиями ситуации и целью употребления» [Ахманова, 2004]. Первое определение относится к литературному жанру, второе – к жанру речевому. Вопрос о соотношении этих двух «жанров» в лингвистике решается неоднозначно: «Наиболее аргументированной представляется точка зрения, согласно которой понятие речевого жанра является родовым по отношению к понятию литературного жанра, обозначающему не все реально существующие жанры, но лишь те из них, которые исторически признаны таковыми» [Кожина, 2008, с. 56].

В отечественной науке основоположником теории речевых жанров считается М. М. Бахтин, русский философ, литературовед начала XX в., являющийся автором нескольких общетеоретических лингвистических работ, а также работ по стилистике. Именно он связал понятие жанра с повторяющимися время от времени ситуациями общения. Речевой жанр ученый понимает как особую коммуникативную форму, в которой текст находится в непосредственной зависимости от контекста [Бахтин, 1996].

Описание категории жанра в литературе средневековой Руси представляет определенные трудности ввиду хронологической отдаленности интересующих нас текстов. Так, в исследуемый период не существовало четкого разграничения между литературными жанрами и жанрами речевыми. Художественная литература еще не была системно организована, и представление о жанре было по-своему

синкретичным: «Здесь еще не было жанров в современном литературоведческом понимании» [Кусков, 2003, с. 13].

Жанровые рамки ранних древнерусских произведений, по образному выражению Д. С. Лихачева, «отличаются младенческой мягкостью и неопределенностью форм» [Лихачев, 1986, с. 83]. Даже будучи заимствованными из византийских источников, тексты того или иного жанрового типа на славянской почве подвергались трансформации.

Исследователи неоднократно предпринимали попытки создания классификации жанров древнерусской литературы. Так, Н. И. Толстой разделил всю древнерусскую литературу на конфессиональную, конфессионально-светскую и светскую. К примеру, Псалтырь, Апостол, Евангелие, согласно этой иерархически выстроенной классификации, относятся к конфессиональной литературе, исторические сочинения и переводные повести – к светской и т. д. [Толстой, 1988, с. 69].

В. В. Кусков также разработал собственную систему древнерусских жанров, среди которых выделил две основные группы: жанры исторические (предание, сказание, повесть) и религиозно-дидактические (торжественные слова, поучения, жития, хождения) [Кусков, 2003, с. 48].

Вопрос о выделении жанров в древнерусской литературе действительно можно назвать проблемным. Несмотря на сказанное, «несомненно, что и древнерусская, и старорусская речь, представленная в многочисленных памятниках письменности XI–XVII вв. – текстах, неодинаковых по своему функциональному назначению и речевой организации, была внутренне дифференцирована» и принципы этой дифференциации нуждаются в дополнительном научном рассмотрении [Рылов, 2000, с. 187].

Система стилей и жанров в древнерусский период еще не была сформирована, однако это не противоречит идее о том, что древнерусские тексты имели определенные жанрово-стилевые особенности. Так, например, «Повесть временных лет» (далее – ПВЛ) отражает одновременно две основные традиции в развитии средневековой

русской литературы – светскую и конфессиональную – и содержит фрагменты делового, воинского и агиографического типов. Изучение текста ПВЛ в обозначенном аспекте имеет свои особенности, связанные с тем, что данное произведение относится к текстам особого рода – компилятивным, т. е. состоящим из ряда фрагментов. При этом труд человека, создавшего такую компиляцию, нельзя назвать механическим: соединение частей в единое смысловое целое представляло собой процесс творческий, подчиненный одной общей идее. Существует мнение, что именно летописные тексты «благодаря своей уникальности и открытости, становятся ведущим элементом всей жанровой системы» [Крысько, 1990, с. 51].

Начало летописания вообще, по мнению известного филолога-слависта и текстолога И. И. Срезневского, должно быть отнесено к 986 г. (создание Начальной летописи Русской). Исследователь полагает, что летопись включала «заметки о событиях до смерти Святослава», то есть о событиях, предшествующих 988 г. [Срезневский, 1861, с. 8]. Создание летописного текста не без оснований можно связывать с начальным этапом в истории христианизации Руси. Следовательно, данный памятник действительно стоит в самом начале развития (в том числе стилистического) русского языка.

Традиционно считается, что «летопись была своеобразной энциклопедией средневековых исторических знаний» [Лихачев, 1947, с. 10], и это, несомненно, так. Однако видеть в летописи произведение исключительно фактографического характера – значит обеднять русскую средневековую литературу. Внимательный читатель летописи не может не заметить ее сложный состав. Можно сказать, что сущность стиля летописи состоит в совмещении погодных записей как своеобразного монотонного фона и выделяющихся на их фоне ярких повествований.

Именно летописные тексты, «благодаря своей уникальности и открытости, становятся ведущим элементом всей жанровой системы» [Крысько, 1990, с. 51]. По мнению Рикардо Пиккио, известного итальянского лингвиста и слависта, «из летописи можно было бы выделить многие главы и сгруппировать их по «жанрам» и таким

образом составить отдельные панорамы развития повествования, агиографии, ораторского искусства, дидактической литературы» [Пиккио, 2002, с. 58].

1.2. «Повесть временных лет» как источник изучения жанрово-стилистических особенностей русского языка

Компилятивность можно назвать отличительной чертой древнерусской литературы: «Произведение существовало не в виде отдельной, самостоятельной рукописи, а входило в состав различных сборников, преследовавших определенные практические цели» [Кусков, 2003, с. 5]. Русский человек эпохи Средневековья был знаком с огромным множеством оригинальных и переводных четких сборников. Особенно известными среди них были «Великие Четыи Минеи», «Златоструй», «Златоуст», «Измагард», «Лествица Иоанна Синайского» и др. Компилятивность литературы Древней Руси, ее соборный характер связаны с анонимным характером культуры Средневековья. Образ автора книги в Древней Руси далек от образа современного автора-творца, выразителя независимого сознания. Средневековый автор – сводчик, переписчик, хроникер, редактор. И когда он осмеливается взять на себя роль создателя текста, то называет себя рабом Божиим, подчеркивая, что его творческое начало подчинено Высшему разуму.

Еще более ярко компилятивность в литературе Древней Руси проявлялась не на уровне сборника текстов, а на уровне отдельного текста. В пределах компилятивного целого жанрово-стилевые различия древнерусских произведений (или их фрагментов) становятся особенно заметными. И чем меньше расстояние между сравниваемыми объектами, тем сильнее бросаются в глаза те черты, которые отличают их друг от друга. Показательным примером компилятивного произведения можно считать ПВЛ – древнейший летописный текст, названный О. В. Твороговым «литературно изложенной истории Руси» [Творогов, 1981, с. 31]. Данное произведение представляет собой свод: судя по всему, ее создатель мастерски работал с богатым арсеналом источников (византийские хроники, Священное

Писание, исторические документы и др.), что не могло не отразиться на языковой организации памятника, в котором «соединены сугубо информативные фрагменты и повествования, обладающие несомненными литературными достоинствами» [Пауткин, 2002, с. 6]. По этой причине многие исследователи и называют летопись компиляцией, а компилятивность считают отличительной чертой летописных текстов.

Итак, древнейшие образцы русской литературы могли обладать разными жанрово-стилевыми особенностями, которые нередко проявлялись не только на уровне законченных произведений, но и на уровне их частей. Причем, как уже сказано ранее, мы не можем называть средневековые русские тексты и их фрагменты разножанровыми, то есть относящимися к разным жанрам: сам язык еще только формировался, зарождалась литературная традиция. В этом отношении летописные тексты вообще и ПВЛ в частности ввиду своей компилятивной природы представляют для исследователя особенный интерес.

В. В. Виноградов связывает летописные тексты с народно-разговорной традицией, что справедливо: они написаны на древнерусском языке с включением небольшого числа переводных элементов. Летописи в целом действительно можно обозначить как произведения светские: основной интерес для летописца, как было сказано выше, представляла история государства. Однако В. В. Виноградов делает очень важное замечание: в некоторых фрагментах летописи «явственно проступают элементы агиографической стилизации, основные черты церковнославянского языка», в таких фрагментах довольно часто можно встретить «традиционные церковнославянские формулы, литературные штампы» [Виноградов, 1978, с. 267].

Сходные мысли высказывает Д. С. Лихачев. Признавая, что в основе своей летописи отражали народную тенденцию, академик добавляет, что произведения эти «не были свободны» и от тенденции «книжной» [Лихачев, 1947, с. 7]. Неслучайно ученый назвал летопись «объединяющим жанром». Интересна точка зрения еще одного известного медиевиста, В. М. Живова, который говорит о двух регистрах в рамках книжного языка и относит летописи к гибриднему типу: «Объединенные общим религиозным пониманием, эти тексты

не образуют четких жанровых границ и относительно свободно перераспределяют текстовой материал» [Живов, 1996, с. 41].

Таким образом, имеет смысл говорить о светской и конфессиональной традициях в литературе Древней Руси. Сделаем небольшую оговорку. Деление древнерусской литературы на светскую и конфессиональную вообще носит весьма условный характер, тем не менее светская и конфессиональная традиции все же противопоставлены: первая ориентирована в большей мере на читателя-мирянина, нередко содержит развлекательный элемент, вторая же направлена на передачу и сохранение христианских ценностей; в центре внимания первой – «внешняя» жизнь человека, в центре внимания второй – «внутренняя».

Получается, что части, составляющие компилятивное летописное произведение, могут быть исследованы в зависимости от их принадлежности одной из двух обозначенных традиций – светской или конфессиональной. Если следовать терминологии В. В. Виноградова, в языке летописи действительно присутствуют как народно-разговорные, так и книжно-славянские элементы, а значит, существуют основания для создания жанрово-стилевой типологии фрагментов ПВЛ.

Для историко-стилистического изучения ПВЛ значимы следующие основания для фрагментирования: тематика фрагмента, цель его включения в общее повествование и, конечно, его традиционное языковое оформление. На данный момент оказалось возможным выделить в исследуемом тексте такие типы фрагментов, как деловой (представленный текстами документов), воинский (соотносимый со светской традицией), агиографический (соотносимый с конфессиональной традицией). Кратко охарактеризуем каждый тип.

4. Деловой: в центре внимания автора находится та или иная деловая ситуация. Этот тип с определенной долей условности можно соотнести с современным официально-деловым стилем.

5. Воинский: изображается историческое событие, связанное с борьбой русского народа против внешних врагов (в основном печенегов и половцев), а также с княжескими усобицами; центральный герой – обычно реальная историческая личность, как правило, князь.

Многие фрагменты данного типа представлены развернуто, они напоминают воинские повести, а их язык сближается с языком художественной литературы.

6. Агиографический: в качестве главного предмета изображения выступают деяния святого или его жизненный путь в целом; предполагает использование определенных мотивов, например, мотивов наставничества, пророчества и др. Поучительный элемент, связанный с распространением идей новой веры, диктует выбор языковых средств, характерных для публицистики.

Обозначенное фрагментирование летописного текста делает возможным применение по отношению к нему лингвотекстологического метода, нацеленного на выявление сходных черт и различий в языковой организации разнородных частей исследуемого памятника.

Языковые единицы, подвергаемые исследованию в таком случае, могут быть разнообразными, в рамках данной работы мы остановимся на структурно-семантическом изучении устойчивых сочетаний (или формул) древнерусского языка в функциональном аспекте, при этом выявление особенностей и закономерностей функционирования традиционных формул в тексте ПВЛ необходимо проводить с учетом жанрово-стилевой принадлежности фрагмента.

1.3. Устойчивые сочетания в деловых фрагментах «Повести временных лет»

В современной стилистике деловая речь определяется как «совокупность стандартов письменной речи, необходимых в официально-деловых отношениях» [Граудина, 1999, с. 230]. Такие стандарты присутствовали уже в первых текстах деловой тематики. Более того, в отечественной науке бытует мнение, что определенные стилиевые черты начали складываться еще в дописьменный период: «В посольских, договорных, воинских речах до появления письменности были выработаны, очевидно, деловые термины и устойчивые выражения» [Улуханов, 1972, с. 96]. Официально-деловой стиль вообще «выделился прежде других письменных стилей благодаря тому, что обслуживал важнейшие сферы государственной жизни: внеш-

ние отношения, закрепление частной собственности и торговлю» [Колтунова, 2000, с. 16].

Функциональный стиль в современном языкознании рассматривается через сумму стилеобразующих факторов, которые, в свою очередь, обуславливают комплекс стилевых черт и стилевую доминанту. Названным характеристикам должна соответствовать система языковых средств. Так, стилевая доминанта современного официально-делового стиля – предельная точность изложения, не допускающая возможности инотолкования, что объясняет, к примеру, наличие в текстах данного стиля разного рода осложняющих конструкций – рядов однородных членов, причастных и деепричастных оборотов и др. При этом стилевые черты и способы их языкового выражения выстраиваются в довольно четкую и логичную систему. Такое единство языка деловой литературы возникло не сразу: «Лишь с XV–XVI веков, по мере усиления централизации административной системы создается единство административной терминологии и фразеологии, единство основных норм языка деловой письменности» [Ларин, 1977, с. 170]. Тем не менее известно, что язык деловой письменности Древней Руси все же «определенным образом нормирован, имеет свои традиции, закрепленные формулы, пользуется рядом черт книжного языка, он особым образом престижен, поскольку это язык не только грамот и завещаний, это язык права, государственности» [Ремнева, 2003, с. 10]. Следовательно, даже самые ранние древнерусские тексты деловой направленности действительно возможно рассматривать как начальный этап в истории развития официально-делового стиля.

Говоря о первых попытках закрепить устное право на письме, обычно вспоминают о «Русской правде» – своде феодальных законов Киевской Руси XI–XII вв. Но науке известны и более ранние юридические памятники – это договоры русских с греками, помещенные в ПВЛ под 911, 945 и 971 гг. Несмотря на то, что сами тексты договоров сохранились лишь в относительно поздних списках (не ранее XIV в.), принято считать, что в них нашел отражение язык X в., а значит, эти памятники действительно являются «древнейшими

письменными источниками русской государственности» [Бибиков, 2005]. Изучение языка договоров Руси с Византией в жанрово-стилевом аспекте представляет большой интерес, и дело не только в том, что в этих произведениях можно найти древнейшие сохранившиеся образцы русской деловой речи – договоры Руси с Византией отличаются от остальных частей ПВЛ в собственно лингвистическом отношении.

Интересующие нас тексты русско-византийских мирных договоров – это наиболее законченные фрагменты деловой тематики, нашедшие отражение в летописи. Цель деловых фрагментов – регламентация социально-правовых отношений. В центре внимания создателя таких текстов находятся определенные деловые ситуации. В качестве своеобразных языковых маркеров данного типа выступают особые формулы, которые на первый взгляд напоминают современные деловые клише.

Небольшое количество деловых летописных фрагментов и их сравнительно маленький объем затрудняют исследование, поэтому в ходе анализа летописного материала нами время от времени будут привлекаться древнерусские деловые тексты с разными жанрово-стилевыми характеристиками. В целях сопоставления языковых единиц мы будем приводить примеры из некоторых деловых памятников, таких как «Договор Новгорода с готским берегом и с немецкими городами» и «Договор Смоленска с Ригою и Готским берегом». Указанные тексты XII – XIII вв., отразившие нормы международного права, были целиком посвящены регулированию торговых отношений между странами. В некоторых случаях мы будем обращаться к «Русской Правде», «Псковской судной грамоте» и др., т. к. именно в этих произведениях отражены нормы древнерусского судебного права. Привлечение других, более поздних памятников позволит нам делать выводы о некоторых тенденциях в развитии деловых формул.

Перейдем к рассмотрению устойчивых единиц Лаврентьевской летописи (далее – ЛЛ), типичных для древнерусских деловых текстов. В связи с тем, что русско-византийские мирные договоры не только самые древние деловые произведения, но и одни из самых

древних русских текстов вообще, кажется очевидным наличие в них и самых древних формул – глагольно-именных с семантически недостаточным глаголом. Такие формулы выполняют не столько стилистическую функцию, сколько функцию развития смысла. Синкретичное имя в каждом новом контексте актуализирует определенное значение, распространителем имени при этом выступает глагол типа *дати, имѣти, творити* и т. п. Наиболее часто такие формулы применяются в тексте договоров для обозначения преступных деяний:

да запрѣтитъ князь словъ своимъ и приходящимъ руси сде да ны творать бецинья сельхъ (ЛЛ, 12 л.),

аще вбращеть въ вустѣ днѣпрьскомъ русь корсунаны рыбы ловаца да не творать имъ зла никакоже (ЛЛ, 13 л.),

аще оубьеть хсеанинь русина или хсеанинь русина или русинь хсеанина и да держимъ будеть створивьи убиество ить ближних оубьенаго (ЛЛ, 13 л.-13 об.).

В качестве именного компонента в рассматриваемых формулах выступает существительное со значением того или иного преступного деяния. При этом к родовым наименованиям можно отнести такие существительные, как *зло* и *бецинье* – ‘нарушение порядка’, к видовым – *искушение* – ‘обман’, *татба* – ‘воровство’, *оубиество* – ‘убийство’. Все они сопровождаются семантически прозрачным глаголом *творити* (*створити*), который и несет в себе значение процессуальности. В данном случае значение формулы определяется значением именного компонента (например *створити оубиество* – ‘убить’). Подобные сочетания являются очень древними, изучение особенностей их функционирования позволяет наблюдать за процессом распада именного синкретизма. Лексическое значение таких единиц выражено именем, а грамматическое – одной из форм глагола. Получается, что в древней формуле два компонента (имя и глагол) выполняют те функции, которые в современном языке берет на себя одна языковая единица – лексема (в нашем случае можно сравнить способы выражения лексического и грамматического значений древнерусской формулой *створити оубои* и современным глаголом *убить*).

Сходную ситуацию можно наблюдать не только в случае с формулами, обозначающими виды правонарушений. Древнейшей глагольно-именной формулой, например, можно считать сочетание *вдати цѣну: Аще оукраденное вбращеться предаемо да вдасть и цѣну его сугубо* (ЛЛ, 12 об.).

Несмотря на то, что использование подобных сочетаний типично для современной деловой речи (ср. *принять участие* вместо *поучаствовать*), упомянутые глагольно-именные формулы в более поздних древнерусских текстах нередко заменялись на глагол.

Однако не все глагольно-именные формулы деловых фрагментов с легкостью могли быть заменены на соответствующие им глаголы. Некоторые устойчивые сочетания были способны сохранять свою самостоятельность и не подвергаться замене довольно продолжительное время. Рассмотрим одну такую формулу. Она появляется в тексте договоров, когда речь заходит об исполнении сторонами тех или иных обязательств – это формула *ротѣ ходити*. Данная единица нашла отражение в «Материалах для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» (далее – МСДРЯ): *ротѣ* = *на роту ходити съ кѣмъ или къ кому* – ‘приносить присягу, давать клятву’. Само существительное *рота* в древнерусском тексте имело значение ‘(церк.) божба, клятва, присяга’, а также ‘часть батальона, состоящая из известного числа солдат’ [МСДРЯ]. Современному человеку это слово знакомо во втором значении, тогда как древнерусский текст знал оба. Для деловых памятников Древней Руси более актуальным является первое толкование.

Ротѣ ходити значит давать клятву, то есть формула передает действие, являвшееся обязательным условием совершения правосудия. В случае, если преступник являлся неимущим, он должен был снять с себя одежду, кроме того, он должен был поклясться, что ему неоткуда ждать финансовой помощи. И только при таком условии его отпускали. Это говорит о том, что освещенное светом веры слово имело в юридических отношениях того времени огромный вес.

Близкое рассмотренному употреблению встречаем в тексте договора 945 г., который вообще имеет много общего с текстом докумен-

та 911 г. Действительно, «представляется несомненным, что ссылки на прежний договор, читающиеся в договоре 945 г., ведут именно к договору 911 г.» [Шахматов, 1940, с. 118]. Тем не менее с языковой точки зрения определенные отличия все же существуют: *Аще ли есть неимовитъ да како можетъ в только же проданъ будетъ яко да и порты в нихъже ходитъ да и то с него сняти а в проць да на роту ходитъ по своей вѣрѣ яко не имѣя ничтоже ти тако пуцень будетъ* (ЛЛ, 13 об.).

Некоторые детали наказания в этом варианте сообщения изменены: если нарушитель не может заплатить за преступление закона, он должен не просто снять и отдать одежду, в которой ходит, но и отдать все свое имущество. Сообщение о клятве дается уже в качестве дополнительной информации, о чем свидетельствует оборот *а в проць*. Изменяется и содержание клятвы: преступник должен был поклясться, что у него не осталось другого имущества, кроме того, что у него забрали. Как видим, фрагменты описывают абсолютно аналогичные деловые ситуации, формула *ротъ ходити* выступает в одном и том же значении, однако некоторые смысловые отличия в сравниваемых сообщениях все же присутствуют.

Еще один случай употребления формулы *ротъ ходити* можно встретить в договоре 945 г., где она выступает в варианте *ротъ ити*. Согласно данным МСДРЯ, этот вариант формулы (*ити на роту, ротъ, въ ротъ*) имеет то же значение, что и рассмотренный выше, – ‘*приносить присягу, давать клятву*’. Греческая сторона описывает действия, которые должны быть предприняты русскими людьми в случае побега челядина в Греческую землю. Необходимо было попытаться найти и вернуть сбежавшего: *Аще ли не вбращетса да на роту идуть наши хсане руси по вѣрѣ ихъ а не хсании по закону своему ти тогда взимають ить насъ ѡбну свою якоже оуставлено есть прежде.в. паволоць за чаладинъ* (ЛЛ, 12 об.).

Если в предыдущем контексте клятва лишь дополняла действие (в качестве наказания преступник должен был снять и отдать свою одежду), то здесь она является единственным свидетельством

истинности намерений одной из сторон. Это еще раз говорит о силе, которую имело слово в эпоху Средневековья. Показательно также, что этот пример, в отличие от предыдущего, не имеет прямого указания на содержание клятвы: только по контексту мы понимаем, что русские и греки таким образом должны были засвидетельствовать чистоту своих намерений по отношению друг к другу, после чего были возможны дальнейшие действия: русские могли забрать у греков по две паволоки за каждого сбежавшего челядина. Кроме того, именно в этом фрагменте можно наблюдать подчеркнутое разграничение христианской веры и нехристианского закона. Клятвы людей разной веры признаются в договорах равноценными, несмотря на то что изучаемые тексты являются частью свода, имеющего подчеркнуто религиозный характер.

Помимо глагольно-именных формул, способных так или иначе участвовать в контекстной замене на глаголы, в текстах договоров встречаются устойчивые сочетания со сходной структурой, которые не могли подвергаться подобной замене. Так, современному человеку хорошо знакомо выражение иметь право. В отличие от рассмотренных выше сочетаний оно не может быть заменено полнозначительным глаголом (ср. *совершить кражу, дать клятву* и др.). В тексте русско-византийских мирных договоров встречаем сходную с современной конструкцию – *имети власть*, которая не нашла отражения в исторических словарях, однако ее повторяемость, а также семантическая и структурная близость современному устойчивому выражению *иметь право* позволяют нам рассматривать данную единицу в ряду с другими глагольно-именными формулами. С точки зрения структуры перед нами сочетание семантически прозрачного инфинитива с именем, несущим основное лексическое значение.

Смысловую близость понятий «власть» и «право» можно проследить на материале древнерусских и современных толковых словарей: «Власть – власть, свобода, право» [МСДРЯ]; «Власть – право и возможность распоряжаться, повелевать, подчинять своей воле» [БТС]. Приведем некоторые контексты с формулой *имети власть*.

Первый регулирует условия пребывания русских послов и просто гостей в Византии:

входяще же русь в [г]радъ. да [не творять пакости и] не имѣють волости купити. паволокъ лише по .н. золотникъ (ЛЛ, 12 л.),

и втходящеи руси втсюда <...> и да возвращаются съ спсениемъ въ свою да не имѣють власти зимовати оу стго мамы (ЛЛ, 12 л.-12 об.).

Как видим, конструкция *имети власть* близка современной *иметь право*, и не только семантически, но и грамматически: обе присоединяют инфинитив, конкретизирующий имя (*власть/право*). Возьмем для сравнения данные «Словаря русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой: *Право* – ‘возможность действовать, поступать каким-л. образом. [Тетушка] опустилась в широкое бархатное кресло, на которое никто, кроме ее, **не имел права садиться**’ (И. С. Тургенев «Отцы и дети») [МАС].

Отдельного комментария заслуживает формула *створити любовь*, также являющаяся частью языка деловых фрагментов ПВЛ. Ее значение исторические словари определяют как ‘заключить мирный договор’ [СДРЯ, СРЯ XI–XVII вв.]. Именно такой смысл данная единица имеет в деловом фрагменте ПВЛ, посвященном заключению военно-торгового договора 945 года о добрососедских отношениях между Киевской Русью и Византийской империей: *И великии князь нашъ игорь и боларе его и людье вси рустии послаша ны къ роману и константину и къ стефану къ великимъ црмъ гречьскимъ створити любовь съ самъми цри со всъмъ боларствомъ и со всъмъ людъми гречьскими* (ЛЛ, 11 об.).

Хотя сочетание *створити любовь* нельзя назвать частотным, оно, безусловно, является формульным, поскольку закреплено в исторических словарях и обозначает цель деловой ситуации – заключение мирного договора. Приведем еще один контекст с тематически близкой формулой, имеющей тот же именной компонент: *И вттоле оувѣдять ины страны како любовь имѣють гръци съ русью* (ЛЛ, 12 л.). *Имѣти любовь* – ‘быть в мире, в дружбе’ [МСДРЯ].

Отмеченное выше значение именного компонента формул – *любовь* – не знакомо носителям современного русского языка, для которых в подобных контекстах привычными являются сочетания с другим именем – *мир*. Чтобы проиллюстрировать данное утверждение, обратимся к современному толковому словарю, где найдем существительные *мир* ‘соглашение между воюющими сторонами об окончательном прекращении военных действий; мирный договор’ (заклЮчить мир) и *мир* как ‘отсутствие войны, вооруженных действий между государствами; согласное сосуществование государств, народов’ (борьба народов за мир) [МАС]. Эти слова, как можно заметить, связаны метонимическими отношениями. В древнерусском языке мы встречаем похожую ситуацию: в летописи обнаруживаем *мирь* ‘перемирие, договор’, а также *мирь* ‘спокойствие, мир, тишина’ [МСДРЯ]. Но в отличие от современного русского языка в древнерусском находим также *любовь* ‘мир, согласие’ и *любовь* ‘мирный договор’ [МСДРЯ]. Семантически слова *мирь* и *любовь*, безусловно, близки. Главное отличие заключается в том, что в последнем более ярко выражена положительная оценка. Слово *любовь* в подобного рода летописных отрывках вообще встречается довольно часто (только в тексте договора 945 г. находим семь случаев употребления), что объяснимо: речь идет о характере взаимоотношений между государствами, и при благоприятном стечении обстоятельств эти взаимоотношения должны быть определены и, если необходимо, документально закреплены как мирные, а древнерусская *любовь* в одной из своих ипостасей и есть не что иное, как мир.

В договоре 945 г. есть информация о том, что византийские послы и гости, приходя на Русь, должны иметь при себе грамоту, являющуюся свидетельством их мирных намерений. Если же грамоты не будет, прибывших в Русскую Землю могли убить. В контексте, описывающем эту деловую ситуацию, встречаем очередную глагольно-именную формулу – *дати руку*. Данное сочетание имеет значение ‘протянуть руку в удостоверение чего-л., дать слово, поручиться’ [СРЯ XI–XVII вв.], ‘давать над собой власть’ [МСДРЯ]. Рас-

смотрим контекст: *Аще ли руку не дадѣть и противатса ди оубьени будуть да не изищется смръть ихъ вѣтъ княза вашего* (ЛЛ, 12 л.).

В сходной ситуации употребляется вариант рассмотренной формулы – *дати руцѣ*. Именной компонент в данном случае выступает не в единственном, а в двойственном числе. Договор 911 г. содержит сообщение о том, что вор не должен оказывать сопротивления при задержании. В таком случае его свяжут и заставят вернуть украденное в тройном размере, но не убьют.

Итак, исследуемая формула выступает в сходных контекстных условиях, связанных с тем или иным правонарушением. Формулу *руку дати*, как и рассмотренную ранее формулу *ходити ротѣ*, можно отнести к самым древним: их внутренняя форма отчетливо напоминает о связи с конкретным действием. Задержание преступника сопровождалось действием, нашедшим отражение в формуле. Произошел метонимический перенос: наименование отвлеченного действия (непротивления задержанию) возникло из наименования конкретной операции (дать руки в знак непротивления задержанию), совершаемой при этом. Неслучайно В. В. Колесов назвал средневековую русскую культуру культурой метонимии: «таков еще сам язык, настроенный на семантические сдвиги по объему понятия» [Колесов, 2002, с. 199].

В некоторых более поздних текстах рассматриваемое сочетание имеет другое значение, на наш взгляд, этимологически не связанное с рассмотренным выше, но схожее с ним по принципу мотивировки конкретным действием.

В современном русском языке сохранился деловой термин, производный от слова рука – поручительство – ‘ручательство кого-л. за выполнение каким-л. лицом предъявляемых к нему требований, возлагаемых на него обязанностей и т. п.’ *Костанжогло дал с радостью десять тысяч без процентов, без поручительства – просто под расписку* (Н.В. Гоголь «Мертвые души») [МАС].

В дальнейшем сочетание *руку (не) дати* перестает употребляться в деловых памятниках. В современных текстах при описании подобных деловых ситуаций можно встретить устойчивый оборот

оказать сопротивление – расщепленное сказуемое, сходное по смысловому наполнению с древнерусским *противитисѧ*.

Примечательно, что в текстовом пространстве договоров встречаются и другие глагольно-именные формулы с компонентом *рука*. В документе 911 г. (отрывки взяты из летописи по Радзивиловскому списку) встречаем формулу *быти под рукою*:

*мы вѣтъ рода рускаг карлы инегелдѣ <...> иже послани вѣтъ влага великог князѧ роускаг и вѣтъ всѣх иж **соут под рукою** ег свѣтлых и великих князѣ и ег великих боярѣ <...> на оудержание и на извещение вѣтъ многих лѣт межи хрестианы и роусіо бывъшую любовь похотѣнем наших великих князѣ и по повелѣнью вѣтъ всѣх иже **соут под рукою** его соущих роуси* (РЛ, 16 об.),

*також и вы грекы да хранит також любовь ко князѣм нашим свѣтлым роускым и ко всѣм иже **соут под рукою** свѣтлаг князѧ нашег несоблазную непреложну всегда и во всѧ лѣта* (РЛ, 17 л.).

Приведенные три случая употребления интересующей нас формулы сосредоточены на довольно небольшом отрезке текста, представляющем собой начальную часть договора 911 г. Словари не фиксируют это сочетание как устойчивое, однако, на наш взгляд, его все же следует считать таковым, поскольку оно не может быть понято буквально. Слово *рука* здесь начинает выступать в качестве своеобразного термина, приобретает неопределенно-общий смысл, передавая идею власти. В СРЯ XI-XVIII вв. указано значение '*в подчинении у кого-л.*', отмечено также, что формула является калькированным выражением из греческого.

Сочетание *быти под рукою* следует рассматривать как формульное еще и потому, что позднее оно начинает заменяться сочетаниями, аналогичными по смыслу и структуре, но отличающимися от исходной формулы по компонентному составу. Уже в договоре 945 г. читаем: *Ци аще ключитсѧ проказа никака вѣтъ грекѣ **сущихъ подѣ властью** цртва нашего да не имать власти казнити я но повелѣнѣ емь цртва нашего да приметь якоже будеть створиль* (ЛЛ, 13 л.).

Контекст с аналогичным употреблением формулы видим и в договоре 971 г.: *Азѣ стославѣ князѣ рускии якоже клахѣсѧ и оутвер-*

жаю на свѣщанѣ семь роту свою хочю имѣти миръ и свершену любовь со всакомъ и великимъ црмь гречьскимъ съ васильемъ и костантиномъ и съ бодохновеными цри и со всѣми людѣми вашими и иже **суть подо мною** Русь болгаре и прочии до конца вѣка яко николиже помышлю на ваию ни собираю вои ни языка ни инога приведу на ваию и елико **есть подѣ властью** гречьскою ни на власть корсуньскую и елико **есть городовъ ихъ ни на страну болгарьску** <...> аще ли в тѣхъ самѣхъ преже реченыхъ [не] съхранимъ азъ же и **со мною и подо мною** да имѣемъ клатву втѣ ба (ЛЛ, 22 об.).

Если проанализировать три взаимозаменяемых компонента формулы, то становится очевидна причина, обусловившая эту замену: *рука – власть – я (князь)*. В приведенных контекстах упоминаются люди, «подвластные» тому или иному князю. Слово *князь* в деловом тексте само по себе эксплицирует идею власти. *Рука* же в договоре 911 г. замещает обозначение наделенного властью лица – князя – по принципу метонимии (ср. в СРЯ XI–XVII вв. фразеологизм *первая рука* означает первого, главного помощника).

Итак, формула *быти под рукою* отличается ярко выраженной символичностью, возникшей на основе метонимии, в связи с этим оказалось возможным наблюдать различные ступени ее развития в пределах договоров Руси с Византией.

1.4. Устойчивые сочетания в воинских фрагментах «Повести временных лет»

Помимо немногочисленных деловых фрагментов, представленных русско-византийскими мирными договорами, в ПВЛ присутствует большое количество фрагментов военной тематики. Эти фрагменты имеют самый разный объем и представлены во всех без исключения частях летописи. Повышенный интерес к обозначенной проблематике был обусловлен общим ходом историко-литературного процесса.

В Древней Руси широкое были распространены произведения, которые в научной традиции принято относить к жанру так называемой воинской повести. Действительно, исключительная популярность этих текстов была продиктована временем: «В условиях

постоянной борьбы за независимость государства <...> воинская тема в течение всего средневековья привлекала к себе писателей» [Адрианова-Перетц, 1949, с. 115]. Произведения данной тематики создавались, чтобы поднимать дух молодого русского государства, укреплять веру в его свободу и независимость. Именно поэтому принято считать, что начальный этап формирования воинской повести как жанра хронологически совпал с возникновением письменности в целом. Однако относительно законченные тексты появились не сразу: первые классические образцы были созданы не раньше XIII в. (например «Повесть о разорении Рязани Батыем» XIII–XIV вв., «Слово о Куликовской битве Софония Рязанца» XIV–XV вв.).

Тексты военной тематики, в отличие от первых документов, имеют более определенную принадлежность к традиции: их следует рассматривать как светские исторические произведения. Для обозначения данных памятников используются и другие термины, например, летописная повесть, летописный рассказ, историческая повесть, героическая повесть. Н. В. Трофимова, специалист по истории древнерусской литературы, чья докторская диссертация посвящена изучению поэтики и эволюции жанра воинской повести, относит произведения, написанные в русле данной традиции, к XI–XVII вв. И хотя сам термин *воинская повесть* имеет длительную историю употребления, «до настоящего времени не существует единого определения жанра» [Трофимова, 2013, с. 7]. У Н. И. Прокофьева находим довольно ясную характеристику исторической повести. Данный жанр, по его мнению, отличается историзмом событий и персонажей, построением в соответствии с логикой и хронологией происшедшего, а также сосредоточенностью на действиях, а не на их производителях [Прокофьев, 1975, с. 32]. Понятие *историческая повесть* включает в себя понятие *воинская повесть*: последняя предполагает отбор в соответствии с объектом повествования.

Воинская повесть, как и большинство древнерусских произведений, строится по определенному канону. В наиболее общем виде композиция классической воинской повести имеет трехчастную структуру: подготовка к сражению – сражение – исход сражения.

Указанная схема нередко представлена более подробно. Для воинских фрагментов ПВЛ подобную композиционную схему описал О. В. Творогов: «Сообщается о начале битвы, затем указывается на ее жесточенность, а в заключение называется победитель и говорится о бегстве противника» [Творогов, 1964, с. 32]. В тексте летописи мы наблюдаем лишь отдельные структурные элементы воинской повести, являющиеся тем не менее значимыми для формирования жанра в целом.

В ПВЛ мы находим древнейшие фрагменты, положившие начало жанру воинской повести, где «описание событий, связанных с военными походами князей, приобретает характер исторического документального сказания, свидетельствующего о формировании жанра воинской повести» [Кусков, 2003, с. 67]. В отличие от текстов договоров летописные фрагменты военной тематики не всегда представляют собой композиционно-смысловое целое, однако являются уже полностью аутентичными, непереводаемыми, а значит, более показательными с точки зрения лингвистического анализа.

Ученые отмечают, что трудно определить, когда именно произошло выделение жанра воинской повести из состава летописи. Уже в ПВЛ и особенно в местных летописях встречаются довольно развернутые и законченные фрагменты, с точки зрения формы и содержания вполне сопоставимые с полноценными воинскими повестями, к тому же установлено, что зачастую эти фрагменты «мало связаны с окружающими их сообщениями и представляют собой самостоятельные произведения» (например «Повесть о взятии Царьграда фрягами в 1204 г.» в составе Новгородской I летописи) [Трофимова, 2013, с. 8]. Следовательно, имеет смысл рассматривать некоторые части летописного повествования как источник изучения жанрово-стилевого своеобразия воинской повести.

С точки зрения формы фрагменты изучаемого памятника не являются однотипными, поскольку, как известно, летопись может подавать информацию различными способами. Об этом пишет И. П. Еремин в статье «Киевская летопись как памятник литературы» [Еремин, 1949, с. 67]. Ученый делит весь повествовательный материал исследуемого текста на три группы: погодную запись, рассказ и повесть.

Следует отметить, что большая часть фрагментов ПВЛ – фрагменты воинского типа, сообщающие о сражениях внутри молодого древнерусского государства и за его пределами. Несмотря на то, что объем подобных летописных сообщений мог быть самым разным, их композиция, как правило, оставалась неизменной, следствием чего стало употребление традиционных языковых средств – формул.

Формульность воинских текстов считается их главной языковой особенностью. Пожалуй, наиболее известен посвященный данной проблематике труд А. С. Орлова «Об особенностях формы русских воинских повестей», имеющий обобщающий характер, где автор подробно рассматривает целый ряд воинских формул, использовавшихся непосредственно для описания сражения. Ученый убежден в том, что «для образования и признания известного шаблона воинских повестей громадную роль играли летописные своды, где почти каждый бой описывался в одних и тех же выражениях», причем группа *loci communes*, по его мнению, установилась очень рано, уже в XI–XII вв. [Орлов, 1902, с. 1]. Исследователь также приводит немало летописных контекстов, содержащих воинские формулы. Отметим, однако, что в данном труде А. С. Орлов рассматривает собственно языковые единицы – формулы – наряду с традиционными мотивами, которые только обуславливают появление языковых единиц. Так, в названии некоторых частей работы используются одноименные формулы (например «За руки емлюще ся съчаху» или «Соступишася... и бысть съча зла»), а в названии других – обозначения традиционных элементов воинской повести (например «Изображение многочисленных войск» или «Бойцы не чувствуют ран»).

Поскольку воинское повествование вне зависимости от его объема и художественной ценности строится по определенной схеме, обычно основанной на реальной последовательности событий, то логичным кажется предположение о том, что каждая смысловая часть будет в нем оформлена подобным образом. В самом деле, формулы, традиционно обозначающие те или иные традиционные действия князя, его войска и их противников, в летописных воинских фрагментах присутствуют. Тем не менее в ПВЛ мы встретим крайне мало

формул, которые обыкновенно считаются воинскими и «хорошо известны каждому специалисту: ‘за руки ся емлюще сечаху’, ‘по удолям кровь течаше, яко река’, ‘стук и шум страшен бысть, аки гром’, ‘бьяшесе крепко и нещадно, яко и земли постонати’, ‘и поидоша полци, аки борове’ и т. д.» [Лихачев, 1967, с. 81]. Дело в том, что перечисленные формулы являются уже выразительным средством. Мы же в основном будем говорить о сочетаниях с меньшей степенью образности, употребление которых вызвано необходимостью передачи традиционных элементов описания боя. О. В. Творогов предложил использовать для подобных единиц термин *традиционная ситуативная формула*. Ученый видел перед собой следующую задачу: изучать различные варианты словесных штампов (устойчивых словосочетаний), входящих в состав этих формул. Он считал, что «такое разграничение совершенно необходимо, так как устойчивые литературные формулы довольно инертны, тогда как обслуживающие их устойчивые словосочетания, напротив, время от времени сменяются другими, отражая литературную манеру автора, редактора, школы и т. д.» [Творогов, 1964, с. 32].

В первую очередь обратим внимание на формулу *бысть съча зла*. Данная устойчивая единица является самой распространенной в воинских частях ПВЛ, поскольку «в разных вариациях начинает картину боя в массе повестей» [Орлов, 1902, с. 11]. К тому же, принимая во внимание специфику материала, можно утверждать, что названная единица организует текстовое пространство каждого из летописных воинских фрагментов, поскольку является частью описания кульминации военного события. А значит, активное употребление данной формулы уже в ПВЛ можно считать вполне закономерным. Приведем контексты из начальной части памятника:

*Ярослав же заоутра исполчивъ дружину свою противу свѣту перевезеса и высѣдъ на брегъ втринуша лодѣ въ берега и поидоша противу собѣ и ступишася на мѣсть **бысть съча зла** (ЛЛ, 48 об.),*

*бѣ же патокъ тогда въсходящую слнцю и ступишася вбои **бысть съча зла** яка же не была в Руси и за руки емлюче съцахуса*

и ступашася трижды яко по удольемь крови теци к вечеру же вдоль Ярославъ а Стополкъ бѣжа (ЛЛ, 49 л.).

Данные фрагменты относятся ко времени начала княжения Ярослава Мудрого в Киеве. И хотя первый отрывок закреплен за 1016 г., а второй за 1019 г., оба они посвящены противостоянию двух братьев – Ярослава и Святополка. Последний, как известно, убил Бориса и Глеба, положив таким образом начало страшному кровопролитию между родными братьями. Ярослав же собирался отомстить Святополку за смерть невинных Бориса и Глеба.

Само слово *сѣча*, согласно МСДРЯ, обозначает битву, сражение. Исследуемая формула в этих примерах выступает в «классическом» виде, ее компоненты не подверглись изменениям. Сочетание *бысть сѣча зла* имеет предикативный характер и сообщает о том, что событие (сражение) состоялось, то есть выполняет прежде всего функцию передачи информации, что вполне соответствует формату погодной записи с ее стремлением к документации. В этом смысле формула становится частью традиционной для описания боя схемы: *подготовка к сражению – сражение – результат сражения*. Консервативность данного построения подтверждает повторение при формуле глагола *ступитиса* в форме множественного числа аориста. *Съступитиса* значит ‘сойтись для боя’ [МСДРЯ]. Именно в сопровождении этого глагола рассматриваемая формула и встречается у А. С. Орлова [Орлов, 1902, с. 11]. Однако, на наш взгляд, не следует включать глагол *ступитиса* в состав формулы *бысть сѣча зла*, поскольку рассматриваемые глагол и формула представляют собой пусть и близко связанные, но все же разные смысловые элементы. К тому же летопись знает множество контекстов, где формула *бысть сѣча зла* выступает без сопровождения *ступитиса*. Приведем пример: *[И] поидоша противу собѣ и бысть сѣча зла и мнози падоша и вдольша изаславъ стославъ всеволодъ всеславъ же бежа* (ЛЛ, 56 об.).

Являясь своего рода организационным центром воинского текста, исследуемая формула нередко обрывает языковыми элементами, позволяющими конкретизировать описываемую ситуацию. Так,

во втором контексте формула дополнена зависимой конструкцией: при имени *сѣча* видим придаточное определительное, которое направлено на подчеркивание важности события – *яка же не была в Руси*. Тут важно отметить, что в первом фрагменте описана лишь первая попытка Ярослава победить Святополка, закончившаяся бегством последнего, затем следовали другие сражения, и только финальное, отраженное во втором отрывке столкновение закончилось долгожданной победой над врагом. Именно поэтому летописец посчитал нужным дополнить формулу *бысть сѣча зла* определительным компонентом с оценочным значением. Как видим, в данном случае летописец не ограничивается простой констатацией события и его результата, он старается сделать погодную запись более подробной. Такое разворачивание летописного фрагмента сближает его с воинской повестью.

Еще один подобный контекст встречаем под 1036 г., речь в нем идет об осаде Киева печенегами. Русской Землей в то время правил Ярослав Мудрый. Приведем интересующий нас фрагмент: *Печеньзи приступиша и почаша и ступишася на мѣсто идеже стоит нынѣ стая софья митрополя русьская бѣ бо тогда поле внѣ града и бысѣча зла и вдва вдоль к вечеру ярославъ* (ЛЛ, 51 л.).

Данный контекст является более развернутым, чем предыдущий, летописец уже не ограничивается простым перечислением действий. Так, упомянутый нами выше глагол *ступитися*, часто сопровождающий формулу *бысть сѣча зла*, здесь вводит обстоятельство места, за которым следует придаточное определительное (*ступишася на мѣсто идеже стоит нынѣ стая софья митрополя русьская*), к которому, в свою очередь, присоединено придаточное причины (*бѣ бо тогда поле внѣ града*). В данном случае такое развернутое указание на место действия можно мотивировать желанием автора сделать повествование более понятным и близким читателю. Отметим, что для писательской манеры летописца вообще было характерно установление связи описываемого им прошлого с настоящим, он сравнивает тогда и сейчас, в продолжении данного контекста находим замечание о том, что побежденные половцы разбежались кто

куда, а некоторые из них *пробѣгоша и до сего дне* (ЛЛ, 51 л.). Все это свидетельствует о том, что фрагменты военной тематики становятся развернутыми повествованиями.

Составные элементы формулы могут варьироваться. Приведем примеры, относящиеся к 971 г.:

приде стославъ в переяславецъ и затворишася болгаре въ градъ и изльзоша болгаре на съчю противу стославу и бысть съча велика и вдалаху больгаре (ЛЛ, 21 л.),

и исполчишася русь и бысть съча велика и вдолъ стославъ и бѣжаша гръци (ЛЛ, 21 об.).

Данные фрагменты повествуют о княжении Святослава, правителя, которого за страсть к военным походам Н. М. Карамзин назвал русским Александром Македонским [Карамзин, 1989]. Под записью 971 г. находим два серьезных сражения – с болгарами и с греками. Заметим, что изучаемая формула используется для описания обоих столкновений, ни в одном случае она не подвергается распространению и композиционно, безусловно, вписывается в стандартную трехчастную схему боя (подготовка войска к сражению – сражение – результат сражения), становясь организующим центром описания. При этом исследуемая языковая единица, как можно заметить, выступает не в классическом виде.

Изменению подвергся один из компонентов формулы, выполняющий функцию определения при имени *съча*. Прокомментируем данную замену. Прилагательное *великыи* указывает, прежде всего, на масштабы события, в то время как *злыми* обычно дает ему отрицательную оценку ('злбный, лютый' [МСДРЯ]), следовательно, семантически данные единицы отличаются. В данной же ситуации эти прилагательные взаимозаменяемы, поскольку сама *съча* оценивалась как явление негативное, приносящее с собой болезни и смерть, а потому *злыми* не столько дает происходящему негативную оценку, сколько придает рассматриваемому адъективно-именному сочетанию плеонастический характер. Таким образом, и в сочетании с прилагательным *великыи*, и в сочетании с прилагательным *злыми* слово *съча*, обозначавшее неотъемлемое, но все же негативное явление

действительности, выражает более интенсивное действие (ср. *сечи* – ‘ударяя острым орудием, делить на части; рубить’) – бой был ожесточенным. Итак, несмотря на небольшую трансформацию компонентного состава, формула остается узнаваемой, поскольку при замене был использован семантический аналог – синоним с более или менее близким значением.

Слово *сѣча* в составе изучаемой формулы может выступать также с прилагательным *силнии*: *И поиде мьстиславъ и ярославъ противу собѣ и ступиса чело сѣверъ съ варагы и бысть сѣча силна яко посвѣтлше молонья блестящеться в ружье и бѣ гроза велика и сѣча силна* (ЛЛ, 50 об.).

Семантически прилагательное *силнии* ближе к прилагательному *великьи*, чем к прилагательному *злыи*, но в подобных рассмотренным выше контекстах все эти языковые единицы оказываются взаимозаменяемыми. Также данный пример интересен тем, что сообщение о битве продолжает обрывать подробностями. На этот раз автор текста не ограничивается упоминанием *сѣчи*: он старается «визуализировать» происходящее, приблизить его к читателю. Такого эффекта удастся достичь при помощи упоминания незначимых с точки зрения передачи информации атрибутов боя (например *блещеться в ружье*) и особенно при помощи включенного в контекст придаточного времени (*яко посвѣтлше молонья*). Последнее присоединяется непосредственно к рассматриваемой формуле и напрямую с происходящим не соотносится, но с точки зрения читательского восприятия это, безусловно, значимый элемент повествования.

Имплицитно автор сравнивает блеск оружия с блеском молнии. Данный прием особенно широко применяется в традиционных воинских повестях, при помощи него создатель текста сознательно добивается образности, выразительности. Исследователи нередко упоминают о подобном приеме в отношении «Слова о полку Игореве» и признают, что обращение автора к природным силам было отнюдь не случайным. Крупнейший специалист в области мифологии А. Н. Афанасьев еще в XIX в. отмечал, что для человека с самого начала было характерно «сочувственное созерцание природы»

[Афанасьев, 1994, с. 8]. Поэтому и человеческая сила в Средние века была «конкретно сопоставима с возможностями природных стихий» [Николаева, 2001, с. 44]. «В фольклоре и на ранних этапах существования литературы преобладали внепейзажные образы природы», которые под пером автора нередко подвергались персонификации и участвовали в жизни людей [Хализев, 2002, с. 241].

Так или иначе, можно предположить, что древнерусским читателем упоминание о природных образах считывалось если не как изобразительно-выразительное средство, то как отступление от традиционного документирующего бесстрастного повествования, поскольку служило для обозначения соответствия настроения природы ужасам боя. Иными словами, в данном контексте мы имеем дело не просто с перечислением и фиксацией последовательных этапов событий, но со стремлением придать воинскому тексту занимательность и большую силу воздействия. Автор текста использует для этих целей традиционную формулу – *и бѣ гроза велика и съча силна*. Дублируя воинскую формулу, выстраивая параллельные синтаксические конструкции, автор воздействует на читателя, подчеркивая внутреннее сходство *съчи* и *грозы*, бывшее близким и понятным древнерусскому человеку. Данный контекст вообще, на наш взгляд, является значимым, потому что именно здесь формула становится частью повествования, выполняющего не только информационную, но и эстетическую функцию. Текст, таким образом, обретает художественную ценность, а формула начинает играть роль выразительного средства.

Варьироваться может не только определение, но и непосредственно именная часть, т. е. слово *съча*. Приведем примеры из ПВЛ, относящиеся к 1096 г.:

*Изяслав же исполчиса предъ градомъ на поли Влгъ же поиде к нему полкомъ и ступишася обои [и] **бысть брань люта** (ЛЛ, 85 об.),*

*[и поиде] Влгъ противу Мстиславу Ярославъ поиде противу Вячеславу Мстислав же перешедъ пожаръ с Новгородци [и] [сседоша с коней Новгородци] и ступишася на Кулачьць и **бысть брань крѣпка** (ЛЛ, 86 об.).*

В данных примерах варьированию одновременно подвергаются оба компонента формулы. Прилагательное *злыи* заменяется на *лю-тыи* или *крѣпкыи*, а существительное *сѣча* на *брань* ‘война, битва’ [МСДРЯ]. Мы видим варианты одной и той же формулы, они отличаются компонентным составом, однако значения этих формул как целостных единиц являются практически идентичными, сочетания строятся по одной синтаксической модели, выполняют в тексте одну и ту же функцию, композиционно закреплены за одним и тем же местом в описании боя.

Итак, мы проанализировали случаи употребления традиционной формулы предикативного характера *бысть сѣча зла* в летописных фрагментах военной тематики. Другие традиционные формулы, встречающиеся в данных летописных отрывках, организуются вокруг рассмотренной выше единицы. Еще одна формула, которая будет рассмотрена нами, – *сѣвкупити вои многи*. По структуре эта формула является смешанной, т. е. имеет черты глагольно-именной (*сѣвкупити вои*) и адъективной (*вои многи*). Данное сочетание следует за упоминанием о решении князя пойти против врага (часто это решение приходит вслед за сообщением об опасности) и предшествует сражению, описывая его подготовительный этап. Формула, о которой идет речь, обычно выступает в форме ед.ч., поскольку обозначает действие князя по отношению к войску. Данное сочетание частотно в ПВЛ. Приведем несколько примеров:

Игорь же совокупить вои многи Варяги Русь и Поланы Словѣни и Кривичи и Тѣверьѣ и Печеньги [наа] и тали оу нихъ поиде на Греки въ лодьяхъ и на конихъ (ЛЛ, 10 об.),

начаша скоть събирати втѣ мужа по .д. куны а втѣ старость по .г. гривнѣ. а втѣ боярь по .ш. гривнѣ и приведоша Варягы [и] вдаша имъ скоть и совокупи Ярославъ воя многы (ЛЛ, 49 л.),

Ярославъ совокупи воя многы и приде Кыеву (ЛЛ, 50 об.).

Реже глагол в данной формуле обозначает не результативное, а дящееся действие, в таком случае он сопровождается фазовым компонентом, указывающим на начало процесса: *Игорь же пришедь нача совокулати воѣ многи* (ЛЛ, 10 об.).

Само слово *вои* выступает в формуле в форме множественного числа и обозначает войско как совокупность воинов, ‘силы’ [МСДРЯ]. В тексте ПВЛ оно ни разу не подверглось замене. Действие в сочетании выражено при помощи глагола *съвкупити* – ‘созвать, призвать’ [МСДРЯ]. Как и в случае с формулой *бысть съча зла*, компоненты данного сочетания способны заменяться. В ПВЛ можно встретить контексты, где на месте *съвкупити* выступает синонимичный глагол *събрати*:

*Ярославу же сущю Новѣгородѣ вѣсть приде ему яко Печенѣзи встоять Кыевь Ярославъ **събра вои много*** (ЛЛ, 51 л.),

*бысть же вѣсть Изяславу яко Олегъ идетъ к Мурому посла Изяславъ по воѣ Суздалю и Ростову и по Бѣловзерци и **собра вои много*** (ЛЛ, 85 об.).

Глаголы *съвкупити* и *събрати* являются очень близкими по значению. В МСДРЯ они оба толкуются через один и тот же глагол – *созвать*. Как и в случае с формулой *бысть съча зла*, прослеживается зависимость выбора глагола от места формулы в тексте ПВЛ. В начальной части памятника предпочтение отдается глаголу *съвкупити*, а в дальнейшем – глаголу *събрати*.

Рассматриваемая формула в предыдущих контекстах обычно не имела при себе осложняющих структуру компонентов. Исключением являются два случая:

*Вльга съ сыномъ своимъ Стославомъ **собра вои много и храбры*** . и иде на Деръвьску землю (ЛЛ, 16 л.),

*кнзю Стославу възрастшю и възмужавшю **нача вои совкуплати много и храбры*** (ЛЛ, 19 л.).

В данных контекстах автор посчитал необходимым дополнить существительное *вои* определением, дающим добавочную положительную оценку, подчеркивая тем самым состоятельность войска не только в количественном (*много*), но и в качественном отношении (*храбры*). Такое необычное для ПВЛ уточнение, на наш взгляд, объясняется тем, что оба контекста имеют народно-поэтический характер, так что подобные образные элементы функционируют в них намного свободнее, чем, например, в классических фрагментах во-

инской тематики. Первый контекст является частью предания о мести княгини Ольги древлянам и входит в начальную часть летописи, второй отрывок взят из рассказа о военных походах сына Ольги Святослава, он также является довольно древним и носит фольклорный характер.

В тексте ПВЛ можно встретить рассматриваемую единицу и с заменой прилагательного *многи*. Оно уступает место существительному *множество*: *Приде Стополкъ с Печеньгы в силъ тлжъць и Ярославъ собра множество вои и възде противу ему* (ЛЛ, 49 л.).

С точки зрения смысла замена, на наш взгляд, не является существенной и в ПВЛ практически не встречается. Однако здесь же отметим, что подчеркивание многочисленности войска часто эксплицируется в тексте именно при помощи данной единицы:

Изаславъ и Стославъ и Всеволодъ и Всеславъ совокупи[ша] вои бецислены [и] поидоша на конихъ и в лодьяхъ бецислено множество на Торкы (ЛЛ, 55 л.),

и не бѣ лзѣ вкрасиса вградъ множествомъ вои ратныхъ (ЛЛ, 73 об.),

и приступи стополкъ креть надѣясъ на множество вои (ЛЛ, 90 об.-91 л.).

При анализе случаев употребления формул *бысть съча зла* и *съвкупити вои много* в ПВЛ мы можем наблюдать сходные процессы, связанные с особенностями функционирования данных единиц. Так, в пределах обоих сочетаний отмечаются случаи лексической замены на компонент, близкий по значению к исходному, что объясняется стремлением к «обновлению» сочетаний в ходе развития языка, а также сменой писца, контекстные же условия употребления остаются во всех случаях подобными и, на наш взгляд, не накладывают отпечатка на выбор того или иного варианта. Также отмечается возможность грамматического варьирования в пределах глагольной парадигмы: форма слова меняется в зависимости от условий протекания действия (отношения к пределу, к деятелю и ко времени непосредственно).

Получается, что первоначально свободная от какой бы то ни было образности формула, оказываясь в рамках повествования на военную тему, в некоторых случаях была способна не просто маркировать воинский тип текста, но и становиться стилистическим приемом. Подобного рода процесс вообще был характерен для текстов, реализующих эстетическую функцию (поэтому мы не сталкивались с ним при анализе деловых фрагментов).

Как видим, для древнерусского автора было важно передать идею многочисленности войск. Еще одна типичная для сформированной воинской повести формула также связана с передачей этой идеи. Приведем примеры:

и вступитиша [печеньзи] в градъ в силъ велиць бецислено множьство вколо града и не бѣ лъзѣ изъ града выльсти ни вѣсти послати (ЛЛ, 19 об.),

приде стополкъ с печенъгы в силъ тлжыць и ярославъ собра множьство вои и взыде противу ему (ЛЛ, 49 л.).

Сочетания типа *в силъ...* относятся к глаголу, называющему то или иное действие войска, чаще всего наступление или осаду. Определение, традиционно сопровождающее имя *сила*, подчеркивает его значение и сосредоточивает внимание читателя на положительной оценке сочетания в целом. Слово *великий* мы встречали в составе формулы *бысть съча велика*, оно действительно является традиционным для выражения в тексте идеи о чем-либо выдающемся и положительном. Интересно добавление *в гордости* в первом примере. Оно делает атрибутивную формулу похожей на парную (типа *миръ и любовь, молонья и громъ* и т. п.). Соединение в одной конструкции слов *сила* и *гордость* говорит о том, что автор мыслил силу как предмет гордости и передал эту идею при помощи соединения двух имен в формуле. Отношения между компонентами пары можно охарактеризовать как внешнее – внутреннее: сила – объективная характеристика войска, гордость – внутреннее переживание, вызванное тем, что войско хорошо подготовлено и готово вступить в битву с противником. Подробнее об отношениях компонентов, составляющих парную формулу, речь пойдет ниже.

Следующая формула, которая будет нами рассмотрена, относится к завершающей части традиционного воинского текста, где речь идет о результате сражения. Это глагольно-именная формула *възложити дань*. Впервые данная единица встречается уже в записи 884 г.: *Иде [Олегъ] на Сѣверане и побѣди Сѣвераны и възложи на нь дань легьку и не дастъ имъ Козаромъ дани платити рекъ азъ имъ противень а вамъ не чему* (ЛЛ, 8 об.).

Данный пример представляет собой редкий случай, когда формула встречается в очень краткой записи, имеющей документирующий характер. Слово дань в приведенном контексте имеет значение ‘подать’ [МСДРЯ], т. е. репрезентирует понятие из области финансового права. Интересно уточняющее определение при имени *дань*, определяющее размер подати. В данном случае она оценивается автором как небольшая (*легька*). Здесь же видим еще одно сочетание со словом *дань* – *дань платити*, эксплицирующее действие, имеющее противоположное «направление».

Формула *възложити дань* обычно использовалась в тексте для передачи завершенного результативного действия. Реже возникала необходимость передать это действие как процесс. В тех же случаях, когда контекстно важно было показать длительность, использовали другую составную единицу:

*поча Влгьгъ воевати Деревланы и примучи вои **имаша** на них дань по чернь кунь* (ЛЛ, 8 об.),

*рече же имъ Вльга яко азъ мьстила оуже вбиду мужа своего <...> а оуже не хоцю мьщати но хоцю **дань имати** помалу [и] смирившиса с вами поиду вплатъ* (ЛЛ, 16 об.),

*иде Стославъ на Дунаи и на Болгары [и] бившемьса вбоимъ вдолъ Стославъ Болгаромъ и вза городъ .н. по Дунаеви [и] съде княжа ту въ Переяславци **емла дань** на Грьцьх* (ЛЛ, 19 об.).

В тексте ПВЛ можно встретить формулу со значением, противоположным *възложити дань*, – *платити дань*. В той же функции выступало и сочетание *дати (даяти) дань*. Приведем несколько примеров из ПВЛ:

• *посла къ Радимичемъ рька камо **дань даете** вни же рьша Козаромъ* (ЛЛ, 8 об.)

• и *пристроиша Гръци .р. тысящъ на Стослава и не даша дани* (ЛЛ, 26 об.)

Итак, для описания ситуации обложения данью использовался ряд глагольно-именных традиционных формул. Все эти единицы выступают в тексте ПВЛ в случае необходимости сообщить о результате военных походов. Наиболее часто использовалась формула *възложити дань*. В рассмотренных контекстах сообщение об обложении данью может содержать информацию о размере платежа и реже – о способе выплаты, сама же формула не подвергается трансформациям: оба ее компонента остаются без изменений. На наш взгляд, это связано с тем, что данная единица, хотя и встречается в текстах военной тематики, все же является средством экспликации деловой ситуации, а потому во многом функционирует как глагольно-именные формулы типа *створити оубои, татбу* и т. п.

Еще одна исследуемая единица также относится к завершающей части воинских фрагментов, она следует за сообщением о результате события и чаще всего указывает на окончание отрывка. Это формула *възвратитиса въ своя си*. Согласно данным «Историко-этимологического словаря современного русского языка» П. Я. Черных, наречие *восвояси* со значением ‘к себе, домой’ пришло в русский, а перед тем – в древнерусский язык из старославянского, куда, в свою очередь, было перенесено из греческого путем калькирования [ИЭСРЯ]. С точки зрения грамматики древнерусского языка данное формульное сочетание состоит из притяжательного местоимения *своя* (вин. мн. ср. р. от *свои*) и усилительной частицы *си*. М. Фасмер считает *си* местоимением в Д. п. (ср. *себе*) [ЭСРЯ].

Итак, рассмотрим формулу, на базе которой возникло наречие *восвояси*. Впервые данная устойчивая единица употребляется уже во фрагменте о первом походе Руси под предводительством Аскольда и Дира на Царьград в 866 г.: *И волнамъ вельямъ въставшемъ засобъ безбожныхъ Руси корабль смате [и] к берегу приверже и избия яко ма[ло] их втъ таковыя бѣды избѣгнути [и] въ своаяси възвратишася* (ЛЛ, 7 об.).

Поход, описанный в этой части летописи, оказался неудачным, причем неудача эта объясняется летописцем непривычным для воинского текста образом. Сражение не состоялось: ему помешали силы природы. Получается, что сочетание *възвратитиса въ своя си* использовалось даже тогда, когда сражение не состоялось, но имело место само выступление в воинский поход. Противодействие же со стороны стихии автор связывает с молитвой царя Михаила и патриарха Фотия, за которой последовал священный ритуал: ризу святой Богородицы смочили в море. Такое магическое объяснение тем не менее не является чем-то чужеродным для текста ПВЛ, поскольку встречается в ее начальной части, многие фрагменты которой имели характер исторических преданий. В целом же мистическое влияние природы на ход боя впоследствии стало излюбленным мотивом воинских повестей. Достаточно вспомнить описание природы в «Слове о полку Игореве»: «Мрачными предзнаменованиями природа сопровождает сборы Игоря в поход и самый поход, и с радостным возбуждением она помогает ему во время его бегства из плена» [Гудзий, 1989].

Еще один неудачный поход, заставивший русских *възвратитиса въ своя си*, описан под 941 г. Это поход князя Игоря на греков, когда последние применили в морской битве горючую смесь, так называемый греческий огонь: *Русь же видяци пламань вмѣтахуса въ воду морьскую хотяще оубрести и тако прочии възвъратишася въ свояси* (ЛЛ, 10 об.).

Позднее в ПВЛ глагол *възвратитиса* уступил место глаголу *ити* и его приставочным производным. Приведем примеры:

[Игорь] повельъ Печенѣгомъ воевати Болъгарьску землю [а] самъ вземъ оу Грекъ злато и паволоки и на вса воя и възвратиса възспаць и приде къ Киеву въ своя си (ЛЛ, 11 л.),

и варивше яша князи Печенѣзъстии и подившиася и поимше тали своя и внѣхъ пустивше възсташа итъ града въ своя си идоша (ЛЛ, 44 об.).

В более поздних батальных рассказах на месте данной формулы встречаем цельнооформленную единицу – наречие, которое

функционировало довольно свободно и могло не иметь четкой композиционной связи с окончанием повествования.

Выше мы анализировали формулы, употребляющиеся в тех или иных частях воинских фрагментов. Теперь рассмотрим отдельные воинские фрагменты ПВЛ целиком и понаблюдаем за функционированием в них описанных устойчивых сочетаний (отрывки взяты из летописи по Радзивилловскому списку):

иде Игорь на Деревляны и побѣдивъ а и возложи на нь дань болии Волговы в то же лѣтъ прииде Семинынъ Болгарьскій на Цръград и сотворивъ миръ и прииде во своаси (РЛ, 20 об.).

приде Семевоны на Цръградъ и поплѣни Фракию и Макидонью и приде ко Црюграду въ силъ въ велицѣ в гордости и створи миръ с Рамономъ црмъ и възратисл въ своя си (РЛ, 21 л.).

Приведенные примеры демонстрируют композиционную обусловленность употребления формул в воинских фрагментах ПВЛ. Данные единицы в них являются своего рода маркерами постоянно повторяющихся действий, так или иначе связанных с вооруженными столкновениями. В связи со сказанным становится ясно, почему в данном типе летописных фрагментов распространены именно предикативные и глагольно-именные устойчивые единицы: важно было передать действия в их протекании, последовательности, тогда как дополнительные, обстоятельственные значения находились на периферии повествования, а в кратких записях для них и вовсе не было места.

В нескольких фрагментах наряду с рассмотренными выше композиционно обусловленными формулами можно встретить яркие, образные формульные конструкции, характерные для развитых воинских повестей. Приведем в качестве примера контекст, повествующий о втором походе князя Игоря на Византию: *Игорь же совкупивъ вои многи Варяги Русь и Поланы Словѣни и Кривичи и Твверьцѣ и Печенѣги и тали оу нихъ поя поиде на Греки въ лодьях и на конихъ хота мьстити себе се слышавше Корсунци послаша къ Раману глице се иде Русь бе-щисла корабль покрыли суть море корабли такоже и Болгаре послаша вѣсть глице идуть Рьсь и наяли суть к собѣ Печенѣги се слышавъ црь посла к Игорю лучиѣ боларе мола*

и гла не ходи но **возьми дань** юже ималь *Влегъ придамъ и еще к той дани такоже и къ Печенѣгомъ посла паволоки и злато много* (ЛЛ, 10 об.-11 л.).

Обратимся к еще одному контексту из ПВЛ, содержащему воинские формулы. Речь в нем идет о победе Ярослава Мудрого над братом Святополком: **Приде Стополкъ с Печенѣгы в силѣ тажъщѣ** и **Ярославъ собра множество вои** и *взыде противу ему на Лъто Ярославъ мѣстѣ идеже оубиша Бориса въздѣвъ руцѣ на нбо реч кровь брата моего вопъеть к тобѣ Влдо мѣсти втѣ крове праведнаго сего якоже мѣстилъ еси крове Авелевы положивъ на Каинѣ стenanье и трасенье тако положи и на семь помоливъса и рекъ брата моя аще еста и тѣломъ [втишла] втсуда но млтвою помозѣта ми на противнаго сего убищю и гордаго и се ему рекишо поидоша противу собѣ и **покрыша по[ле]** **Летьское вбои вт множество вои** бѣ же пѣтокъ тогда възсходящю слнцю и сступишася вбои **быс съча зла** яка же не была в Руси и **за руки емлюче съцахуса** и сступишася трижды **яко по удольемъ крови теци** к вечеру же вдолѣ **Ярославъ а Стополкъ бѣжа** (ЛЛ, 49 л.).*

Характерные для воинских повестей и редких летописных фрагментов формулы типа *за руки емлюче съцахуса, яко по удольемъ крови теци* и др. представляют несколько иное языковое явление по сравнению с устойчивыми единицами, рассмотренными выше. В отличие от последних, эти единицы уже вполне можно назвать выразительным средством. Такие формулы также отражают традиционные мотивы сражения, но воспринимаются уже не просто как средство типизации. Эти сочетания вплетены в канву произведения сознательно, их функция – эстетизация повествования, воздействие на чувства и эмоции читателя. Неслучайно и возникли подобные единицы намного позже первичных формул, главной задачей которых была языковая репрезентация действия.

Сказанное подтверждает мысль о том, что ПВЛ не имеет в своем составе законченных воинских повестей: развернутые, образные фрагменты встречаются в исследуемом тексте крайне редко. При этом анализ традиционных формул позволяет говорить о своего рода

преемственности между воинскими фрагментами летописи и соответствующими им самостоятельными произведениями древнерусской литературы, содержащими элементы художественности.

1.5. Устойчивые сочетания в агиографических фрагментах «Повести временных лет»

Несмотря на то, что большая часть текстового пространства ПВЛ посвящена описанию военных событий, значительная роль в данном произведении, как и в древнерусской литературе вообще, отведена фрагментам религиозной тематики, содержащим примеры духовного красноречия. Будучи фактографичными и нацеленными на воздействие, эти фрагменты сближаются по своим жанрово-стилистическим характеристикам с публицистикой.

Общая линия построения текста летописи (*лѣто + писати*), казалось бы, довольно прозрачна: это погодная запись исторических событий древнего времени. Действительно, интересующие нас произведения наиболее часто рассматриваются с точки зрения отражения в них реальных событий, истории создания летописных сводов и т. д. Однако при таком подходе довольно трудно понять цель включения в ПВЛ значительного числа фрагментов, содержащих отступления от конкретно-исторического повествования, ведущегося «по годам». Прежде чем объяснить наличие в летописном тексте таких, на первый взгляд, чужеродных с точки зрения жанра текстовых элементов, как некролог, поучение, рассказ о знамении, необходимо понять, для чего в действительности создавался интересующий нас текст, поскольку, как известно, «именно замысел определяет набор и порядок изложения известий в летописи» [Данилевский, 1999, с. 14].

Для современной научной мысли не является новой концепция, в рамках которой летописям отведена роль своего рода скрижалей, «книг жизни», где находят отражение людские деяния, которые будут иметь значение на Страшном Суде. Возможно, «летописцы стремились не только зафиксировать те или иные действия людей, но и повлиять на решение их судьбы – через отбор сообщений для внесения в летопись или тенденциозное редактирование» [Гимон]. Признано,

что «и воинская повесть, и летопись, относимые чаще всего к памятникам мирской литературы, изображают и истолковывают события с религиозной точки зрения» [Ранчин]. В утверждении посредством Слова новой, христианской, веры создатель летописного текста видел одну из своих ключевых задач. Согласно данной точке зрения, «летописца интересуют не сами по себе события, а “божественная логика”, которая управляет всем ходом человеческой истории» [Бахтина, 1999, с. 261]. Такой подход к пониманию цели создания летописи отчасти объясняет известную стилистическую неоднородность исследуемого текста, а следовательно, и наличие значительного числа отступлений от документирующего повествования, которые, вероятно, являются отступлениями только формально: напротив, исторические события представляются временными, частными воплощениями вневременных событий библейской истории.

Большая часть подобных «отступлений» в летописи соотносится с жанром жития. В летописных фрагментах агиографического характера представлена конфессиональная традиция. Эти части текста, в отличие от рассмотренных выше, направлены, прежде всего, на воздействие, которое в летописи обычно достигается косвенным путем: через описание жизненного пути праведника. В качестве главного предмета изображения в агиографических летописных фрагментах выступают деяния святого или его жизненный путь в целом, здесь используются определенные мотивы: учительства (наставничества), пророчества, исцеления, юродства и др.

Наиболее ярко отражают агиографические черты летописные фрагменты о Феодосии Печерском и первых печерских черноризцах, а также рассказ об убиении Бориса и Глеба. Получается, в ПВЛ можно найти элементы двух типов житийных текстов, наиболее распространенных на Руси. Их появление обусловлено существованием в древнерусской литературе двух типов героев – церковного и государственного служителей. Именно названные фрагменты ПВЛ, на наш взгляд, можно считать одними из первых оригинальных житийных текстов. Так, А. А. Шахматов считает «Чтение» и «Сказание» о Борисе и Глебе результатом творческой переработки протографа – «Древ-

нейшего Киевского летописного свода», который ученый датирует второй четвертью XI в. [Шахматов, 2001].

Обращаясь к обозначенным выше летописным фрагментам, нельзя не отметить одну значимую их особенность: все они объединены агиографической традицией, поскольку изображают фигуру святого как абсолютный идеал, однако фактически не содержат информации непосредственно о «житии»: в летописи зачастую описано только преставление героев, сопровождаемое пространной похвалой и выполненное, безусловно, в традициях классического жития. Чтобы объяснить этот факт, вспомним о специфике организующих летописный текст погодных записей. Дело в том, что список тем, считавшихся достойными упоминания в летописи, был довольно закрытым: война, начало княжения, рождение у князя сына или дочери, наречение имени, смерть политически значимого лица, основание города или церкви и некоторые другие. Упоминание об этих событиях в летописи имеет документирующий характер, здесь нет места развернутому повествованию. Отсюда и немногословность летописца, сообщающего о преставлении известных государственных деятелей, чаще всего князей. Исключительным случаем можно считать летописные сообщения о войне, которые под пером летописца часто превращались в довольно объемные тексты. Тем не менее в летописи все же встречаются случаи разворачивания сообщения о преставлении того или иного значимого для того времени лица. В таких случаях мы имеем дело с посмертной похвалой умершему (некрологом). Древнерусский автор понимал, что смерть представляет собой итог человеческой жизни и имеет особое значение: добродетельные поступки и праведная жизнь прославят человека, а греховная жизнь, напротив, помешает войти душе в Царство Божие.

А. А. Пауткин придерживается мнения о том, что некролог – это повествование особого типа, рассказывающее о смерти того или иного князя и относящееся к панегирикам. Некрологи создавались с целью утверждения в древнерусском языковом сознании нового просветленного образа идеального князя, отличающегося христианскими добродетелями, то есть с целью восхваления. Именно в рамках не-

хронологических характеристик сами события, человек и его поведение приобретают новые очертания, далекие от привычной документальности [Пауткин, 2002].

Начнем анализ единиц, традиционных для данного типа фрагментов, с рассмотрения атрибутивных формул, то есть тех, которые с точки зрения структуры представляют собой устойчивое соединение имени, обозначающего предмет, и имени в функции определения. Синтаксической моделью, чаще всего употребляемой для выражения атрибутивных отношений, является модель «прилагательное + существительное». Единицы подобного рода ранее не становились объектом нашего внимания, поскольку не являлись характерными ни для деловых, ни для воинских летописных фрагментов. Между тем они имеют длительную историю изучения. В ряде работ данные сочетания рассматриваются как сочетания с постоянными [Барсов, 1887, с. 290] или украшающими [Буслаев, 1959] эпитетами.

Используя терминологию М. В. Пименовой, мы будем называть подобного рода сочетания атрибутивными [Пименова, 2007]. Такие единицы включают в свой состав устойчивые книжные атрибуты и могут быть представлены двумя основными лексико-семантическими разновидностями: первые называют денотат, обладающий признаком, выделяющим его из однородного ряда, превращающим его именно в этот денотат (объект, явление) в сопоставлении с денотатом «родовым» (*чърныя ризы* ('монашеская одежда') – *ризы; тъма кромѣшина* ('ад') – *тъма* и т.п.) [Пименова, 2007, с. 62]. Вторая разновидность атрибутивных сочетаний указывает «на денотат, представляющий собой то, что должно, являющийся таким, каким он должен быть, соответствующий норме, идеалу» (*святая церковь, бѣзбожнши Мамай* и т.п.) [Пименова, 2007, с. 63].

Анализ атрибутивных формул ПВЛ подтвердил наличие в исследуемом тексте обоих типов сочетаний. Отметим также, что компоненты формул второго типа относительно свободны друг от друга, их соединение является довольно «уязвимым» и может быстро распадаться. Определение в таком случае обычно представляет собой слово с максимально общей оценочной семантикой. Чаще всего это

действительно слова со значением обобщенно-положительной оценки [Соколовская, 1971]. Однако не любое сочетание слова и сопровождающего его определения со значением положительной оценки является устойчивым. Приведем примеры сочетаний с прилагательным *великыи*, взятые из разных типов летописных фрагментов:

*и съмъси бѣ языки и раздѣли на .о. и .в. языка и расъся по всеи земли по размъшенни же языкъ бѣ **вѣтромъ великимъ** разраши столъ* (ЛЛ, 2 об.),

*Вльга же поимши малы дружины легько идуци приде къ гробу его [и] плакаса по мужи своемъ и повелѣ людемъ своимъ съсуги **могилу велику*** (ЛЛ, 16 л.),

*и баше **снѣгъ великъ** [и] поидоша противу собѣ и быс съча зла и мнози падоша и вдолъша* (ЛЛ, 56 л.),

*и надолзѣ борющемаса има нача изнемагати мѣстиславъ бѣ **бо великъ** и силенъ **Редедѣ*** (ЛЛ, 60 л.).

Как видим, определение великыи имеет довольно широкую сферу функционирования. Часто употребление слова в сочетании с компонентом *великыи* просто указывает на размер или масштаб того, что передано определяемым словом (*великыи вѣтер / снѣгъ – сильный, велика могила – большая, великъ Редедѣ – высокий, крупный*). Таким образом, у читающего летопись складывается впечатление, что все, о чем он узнает из текста, имеет большое значение: *и приде Столавъ къ порогомъ и не бѣ лъзѣ проити порогъ и ста зимовати в Бѣлобережьи и не бѣ оу них брашна оуже и **бѣ гладь великъ** яко по полугривнѣ глава коняча и зимова **Стославъ ту*** (ЛЛ, 23 л.).

Об устойчивости приведенных сочетаний говорить не приходится: слишком велика вероятность варьирования компонентов, и, кроме того, нет какой-либо закреплённости за типом фрагмента или местом в его композиционном строении. В большинстве случаев имена, сопровождаемые определением *великыи*, можно сказать, являются семантически равными самим себе и функционируют свободно.

Однако некоторые атрибутивные сочетания настолько активно используются в неизменном виде, что находят отражение в исторических словарях и, безусловно, имеют устойчивый характер. Посто-

янтво состава таких единиц обусловлено тем, что они представляют предмет в идеальном его проявлении. Одной из таких формул является, например, формула *великый князь* [МСДРЯ]. Приведем примеры из княжеских некрологов:

престависа великый князь русьскый Ярославъ (ЛЛ, 54 об.),
престависа великый князь Всеволодъ снъ Ярославль внукъ Володимерь (ЛЛ, 72 л.).

Интересен тот факт, что *великый* является постоянным атрибутом князя, в то время как другие определения при данном имени появляются факультативно и не так частотны. Обычно их использование связано с дополнительной задачей автора:

и вложиши и в корсту мороморануохраниши тѣло его с плачемъ блжнаго княза (ЛЛ, 45 л.),

изиде противу ему блговѣрныи князь Всеволодъ с своима снѣма с Володимеромъ и Ростиславомъ (ЛЛ, 69 л.).

Итак, в агиографических фрагментах ПВЛ мы встречаемся с атрибутивной формулой *великый князь*, которая обычно используется в некрологах, но может функционировать и в других типах фрагментов. Это объясняется тем, что фигура князя вообще являлась центральной для текстового пространства летописи.

Не только прилагательное *великый* могло входить в состав устойчивого атрибутивного сочетания. Существовали и другие типичные именно для агиографических фрагментов ПВЛ прилагательные, образующие формулы. Приведем примеры:

еякоже Соломонъ реч оумеришо мужю праведну не погыбають оупованье сего бо в память держать Русьстии людье поминающе стое кричнѣ и прославляють Ба въ млтвахъ и в пѣснехъ и въ псалмѣхъ поюще Гсви (ЛЛ, 45 л.),

и идоша братья ко Антонью и рѣша вче братья оумножаются а хотѣли быхомъ поставити манастирь Антонию же радъ бывъ [рече] блгснъ Бъ w всемъ и млта стья Бца и суцихъ вцъ иже в Стѣи Горѣ да будетъ с вами (ЛЛ, 53 об.),

паче же имѣти въ оустѣхъ Плтрь Дедвѣ подобаетъ чернорицемъ симъ бо прогонити бѣсовское оунынье (ЛЛ, 62 л.),

*сдумавше послаша брата два глице сице егоже изволитъ Бъ и твоя **чстная млтва** егоже тобѣ любо того нарци* (ЛЛ, 63 л.).

Специфическими для летописных частей, связанных с конфессиональной традицией, следует, на наш взгляд, считать формулы, имеющие терминологический характер. Под термином мы понимаем «принадлежность специального <...> языка, средство номинации специальных <...> понятий или предметов» [Верещагин, 1997, с. 39]. В нашем случае использование терминов связано с церковной, христианской тематикой текстовых фрагментов. Соединение слов в таких терминологических сочетаниях рождает новый смысл, и смысл этот имеет, как правило, нравственный характер.

Являясь частью христианской терминологии, соответствуя букве Священного Писания, подобные формулы без значительных изменений сохранились до настоящего времени. Одной из таких атрибутивных формул терминологического характера является сочетание *постное время*:

*Феодосии бо обычаи имаше приходяще **постному времени** в недлю масленую вечерь по обычаю цѣловавъ братю всю и поучивъ ихъ како **проводити постное время*** (ЛЛ, 61 об.-62 л.),

***постное** бо **время** вчищаетъ оумъ члвку* (ЛЛ, 62 л.),

*постивъса и Гь .м. днии намъ показая **постное время*** (ЛЛ, 62 об.),

*се азъ втхожю втѣ васъ якоже яви ми гсѣ в **постное время** в печерѣ суцю ми изити втѣ свѣта сего* (ЛЛ, 62 об.).

Данная составная единица функционирует во фрагментах, посвященных преставлению Феодосия Печерского, и это закономерно, поскольку речь в них идет о фигуре игумена, а не князя. Это типичное монашеское житие, следовательно, в нем находят отражение монастырский быт и обычаи, в том числе традиция временного воздержания от еды и питья, то есть пост. Действительно, во фрагментах, напрямую не связанных с конфессиональной сферой, сочетание *постное время* не употребляется.

Науке известен еще один памятник, посвященный описанию жизненного пути Феодосия, – его «Житие», созданное в XI в. В этом произведении на месте сочетания *постное время* чаще можно встретить формулу *постныя дни*:

*и се же якоже бѣ отъходя въ **постыныя дѣни** въ прѣжбѣреченую пещеру <...> и никомуже того вѣдущую, прѣбывааше въ ней единъ до вѣрбѣныя недѣля къ братии излазаше якоже тѣмъ мнѣти, ту ему прѣбывѣшию въ **постыныя дѣни**,*

*и о семь же молю вы и заклинаю да въ ней же есмь одежи нынѣ въ той да положите мя тако въ пещерѣ идеже **постыныя дѣни** прѣбываахъ.*

Исторические словари толкуют *постыныи* как ‘относящийся к посту’, а само слово *постъ* как ‘воздержание’ [МСДРЯ]. Привычное современному русскому языковому сознанию более узкое понимание поста как воздержания именно от пищи также отражено в исторических словарях. *Постъ* может означать процесс, «пошение», а также время, дни, назначенные для поста [МСДРЯ].

Получается, что сочетание *постное время* уже в древнерусский период имело однословный эквивалент – *пост*. В толковом словаре современного русского языка также читаем: «Пост – предписываемое церковными правилами воздержание от скоромной пищи, а также период такого воздержания. *Дома, по случаю поста, ничего не варили и не ставили самовара, и день поэтому казался очень длинным.* (А. П. Чехов «Убийство») [МАС]. Данное утверждение еще раз доказывает формульность изучаемого словесного комплекса. Замена компонента *время* на *дни* объясняется, по нашему мнению, стремлением к конкретизации понятия «время». В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» *пост* и *постныя дни* в большинстве случаев возможно считать взаимозаменяемыми, а само сочетание *постный день* до сих пор представлено в словарях как устойчивое: «Постный день – день, в который по церковным правилам не разрешается есть мясную и молочную пищу. *В скоромные дни в домах пахло борщом, а в постные – осетриной, жаренной на подсолнечном масле.* Чехов, *Моя жизнь*» [МАС].

Еще одним сочетанием, относящимся к религиозной сфере и носящим терминологический характер, является сочетание *царство небесное*. Интересно, что в МСДРЯ слово *царство* толкуется как понятие, связанное не с миром горним, но с миром дольним: ‘царский престол (о ханской власти)’ и ‘титул царя’. Принципиально новый смысл появляется благодаря функционированию данного слова в устойчивом сочетании со словом *небесный*, которое, согласно МСДРЯ, в данном контексте означает ‘относящийся к вечной блаженной жизни’. Понятие «Бог» определяется через понятие «царь» (*царь небесный*). Подобные параллели вообще довольно характерны для литературы Древней Руси, поскольку Всевышний создал человека по собственному образу и подобию (см. Кн. Бытия).

Впервые формула *царство небесное* встречается в некрологе княгине Ольге – первой праведнице Земли Русской: *Си первое вниде в царство нбсное втъ Руси* (ЛЛ, 20 об.).

Также данную формулу можно встретить в летописных фрагментах о черноризцах печерских. Приведем пример, являющийся частью описания предсмертного чуда, случившегося с пресвитером Демьяном: *Лежащую ему в немощи приде англь к нему въ вбразѣ Февдосъевѣ даруя ему царство нбсное за труды его* (ЛЛ, 64 л.).

Во фрагменте, описывающем кончину самого Феодосия, встречаем вариант исследуемого сочетания, в котором слово *црство* заменяется на *црствие*: *Единою же ему пришедию к нима и оучашеть я в млстни къ оубогымъ в царствии нбснѣмъ еже прияти праведникомъ. а грѣшникомъ муку [и] в смртнѣмъ часѣ* (ЛЛ, 70 об.-71 л.).

Благодаря широкому употреблению данной формулы в текстах Священного Писания, особенно в Евангелии от Матфея, выражение *царство (царствие) небесное*, как и другие подобные формулы, знакомо носителю современного русского языка и отражено в актуальных фразеологических словарях: «(кому) Устар. Высок. Выражение, употребляемое при пожелании покойному загробной жизни в раю. – Супруга наша Авдотья Петровна скончалась... Терентий, взглянув на образ, перекрестился. – Царствие ей небесное! (М. Горький. Трое)» [Фёдоров, 2008].

Во фрагменте об убиении Бориса и Глеба можно встретить также близкую рассмотренной устойчивую единицу *нбсная обитель*: *Поварь же Глѣбовъ именовъ Торчинъ вынезь ножь зарѣза Глѣба . акы агна непорочно принесеса на жертву Бви в воню блгооуханья жертва словесная и прия вънець вшедь въ нбсныя вбители* (ЛЛ, 46 об.-47 л.).

Само по себе слово *обитель* следует понимать ‘жилище, дом’ [МСДРЯ], в приведенном примере устойчивая единица имеет совсем иной смысл. Атрибутивные формулы *царство нбсное* и *нбсная обитель* роднит то, что обе они обозначают рай. В обоих случаях благодаря прилагательному *нбснии* обозначаемое существительным понятие из мира земного перемещается в мир божественный. Аналогичную ситуацию можем наблюдать в следующих примерах:

радуитаса нбсная житела въ плоти англа быста единомысленая служитела верста единовбразна (ЛЛ, 47 л.),

радуитаса брата вкупѣ в мѣстѣхъ златозарныхъ в сельхъ нбсныхъ в славъ неовудяющеи еяже по достоянью сподобистаса (ЛЛ, 47 об.).

Использование христианской терминологии обосновано здесь несколькими факторами. Во-первых, речь в данном фрагменте идет о разорении монастыря, а значит, наблюдаемые языковые особенности оправданы тематически. Во-вторых, данный воинский отрывок во многом имеет народно-поэтический характер (Боняк в нем назван шелудивым хищником, а сами половцы сынами Измаила), а значит, он более открыт для «иностилевых» вкраплений. И, наконец, в-третьих, развернутые воинские фрагменты летописи вообще нередко завершаются дидактическим отступлением, имеющим относительно устойчивое содержание. Они имеют назидательный характер и транслируют читателю мысль о том, что все плохое в жизни человека происходит *грехъ ради нашихъ*.

Следующая анализируемая формула атрибутивного характера – *крестное знаменье*. Это сочетание как устойчивое обозначает знак

креста и встречается уже в исторических словарях (см. напр. МСДРЯ). Приведем некоторые контексты:

да приходящая таковыя мысли възбранати знаменем крстнымъ глуще сице гси исс хсе хе нашъ помилуи нас аминь (ЛЛ, 62 л.),
старецъ же знаменася крстнымъ знаменем и приде в кблью свою (ЛЛ, 64 об.).

Особенно интересен второй случай. В нем мы наблюдаем своего рода избыточность. Глагол знаменати в данном контексте выступает в значении ‘знаменать знаком святого креста’ [МСДРЯ], что семантически дублирует формулу *крстное знаменье*. Подобный случай встречаем в следующих примерах:

вн же (черноризецъ Исакий) глице вашъ старѣишина антихрестъ есть а вы бѣси есте [и] знаменаше лице свое крстнымъ вбразом и тако ищезнаху (ЛЛ, 66 л.),

вн же глице к нимъ аще бысте члвци [были] то въ дне бы есте пришли а вы есте тма и во тмѣ ходите и тма вы ятъ и знамена я крстмъ [и] ищезнуша (ЛЛ, 66 л.).

Сочетание *крстное знамение*, как и большинство христианских формул, дошло до настоящего времени благодаря активному функционированию в религиозных текстах. Оно находит отражение и в словарях: это ‘молитвенный жест христиан – изображение движением правой руки знака креста’. – *Матушка Татьяна Марковна! – вопила она, – придите в себя, сотворите крстное знамение! Стариуха перекрестилась.* (И. Гончаров, Обрыв) [МАС].

Определенная символичность рассмотренных атрибутивных традиционных сочетаний во многом объясняется отвлеченным характером обозначаемого. Второй тип формул, характерный для агиографических фрагментов ПВЛ, также возник как средство описания абстрактного.

Формулы, о которых пойдет речь, М. В. Пименова называет парными наименованиями (например *радость и веселье, небо и земля*). Нетрудно заметить, что с точки зрения семантики две приведенные в качестве примера формулы отличаются типом отношений между компонентами. В первом случае компоненты частично дуб-

лируют значение друг друга, и наблюдается своего рода смысловая избыточность, а во втором, напротив, составляющие устойчивого сочетания находятся в отношениях противопоставленности.

Рассмотрим единицы первого типа, представляющие собой соединение сходных по смыслу компонентов. Приведем примеры из некролога Борису и Глебу:

*Глѣбу же оубьену бывшию <...> положишиа и оу брата своего Бориса <...> и съвкуплена тѣломъ наче же дама оу вѣладыкы всецсра пребывающа **в радости** бесконечнѣи **во свѣтѣ** неиздреченьнѣмъ* (ЛЛ, 47 л.),

*тѣмже и мы должни есмы хвалити достойно стрпца Хсва <...> рекуще радуитася стрпца Хсва [застоупника] Русьскыя земля яже ицѣленье подаета приходящим к вамъ **вброю и любовью*** (ЛЛ, 47 л.),

*но хсолубивая стрпца наша покорита поганыя подѣ нозѣ княземъ нашим молащася къ влцѣ бу нашему мирно пребывати **в совокуплении и въ сдрави*** (ЛЛ, 47 об.),

*радуитася яко вса напаяюща срдца **горести и болѣзни** вгоняща* (ЛЛ, 47 л.).

Посмертная похвала Борису и Глебу невелика по объему, она умещается на одном летописном листе, однако рассматриваемые парные формулы встречаются в ней довольно часто. Уже на основании приведенных примеров можно выделить некоторые особенности подобных устойчивых единиц. С точки зрения структуры они представляют собой не просто соединение двух близких по значению имен, связанных союзом *и*, характерным признаком является и то, что имена эти относятся к одному и тому же слову из ближайшего контекста (как правило, к глаголу). С точки зрения значения парные формулы состоят из компонентов, не являющихся в полной мере самостоятельными единицами. Сочетания с таким типом смысловой связи между единицами Е. А. Гуревич включил в созданную им семантическую классификацию парных формул и назвал тавтологическими, указывая тем самым на близость значений компонентов [Гуревич, 1982]. По мысли А. А. Потебни, такие конструкции

отражали стремящуюся к целостности двойственность объекта мышления и первоначально служили не средством «украшения» речи, но средством развития новых значений [Потебня, 1968].

Так, в первом из приведенных примеров соединение в одной конструкции слов *радость* и *свет* говорит о том, что автор мыслил *радость* ('чувство душевного удовлетворения, веселья' [МСДРЯ]) как атрибут мира земного, а свет ('свет духовный' [МСДРЯ]) – мира Божьего. Эти отношения поддерживаются и на уровне определений: *душа* (человеческое) – *дух* (Божье). Однако очевидно, что в совокупности эти компоненты эксплицируют в тексте представление о состоянии человека, достигшего царства небесного. Эта идея передана именно при помощи соединения двух имен в формуле. Соединение двух элементов не равно их сумме, оно дает нечто третье, сформированное как бы на пересечении значений двух используемых в устойчивом сочетании компонентов. Добавим, что подробному исследованию отношений, возникающих между компонентами подобного рода сочетаний, посвящено диссертационное исследование М. В. Артамоновой [Артамонова, 2005].

Аналогично можно рассмотреть все оставшиеся приведенные в качестве примера формулы. Слова *вера* и *любовь*, соединенные в парной формуле, обозначают основные аксиологические понятия христианской культуры. Классическое определение веры в христианстве встречаем в Послании апостола Павла к евреям: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Однако «отдельно концепт вера может быть ключевым для любого религиозного дискурса в целом, например, исламского» [Балашова]. В православном же дискурсе вера не может рассматриваться отдельно от любви: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13:13). Таким образом, в соединении понятий *вера* и *любовь* отразилось представление о православном мироотношении.

Еще одна формула представлена соединением компонентов *совокупление* и *здравие*. В МСДРЯ первый компонент толкуется как 'единение', а второй – как 'здоровье', то есть 'состояние тела жи-

вотного, когда оно беспрепятственно совершает свойственные ему действия'. Оба компонента эксплицируют идею согласованности, цельности, слаженности, при этом один компонент связан с духовной сферой, а другой – с физической.

Последний пример свидетельствует о том, что, помимо положительно маркированных понятий, в парные формулы могли объединяться и единицы с негативной коннотацией (*горести и болѣзни*). Такие случаи встречаются реже, поскольку древнерусский автор стремился представить в своем тексте в первую очередь нравственный образец, а не отступление от него. *Горесть* понималась средневековым русичем как 'горе', т. е. 'беда, несчастье', а *болѣзнь*, как и в современном русском языке, обозначала состояние, противоположное здоровому. Таким образом, в исследуемой парной формуле мы наблюдаем соединение компонентов, находящихся по отношению друг к другу в родо-видовых отношениях.

Сочетания, подобные рассмотренным, встречаются и в других летописных отрывках агиографического типа. Рассмотрим пример из некролога Владимиру Святославовичу: *Дажь ти Гьсь вѣнецъ с праведными в пици раистѣи веселье и ликѣствованье съ Авраомь и с прочими патриархы* (ЛЛ, 45 л.).

Ликѣствованье связывается с глаголом *ликовати* – 'торжествовать' [МСДРЯ]. Компоненты сочетания, таким образом, близки по значению, однако отличаются степенью выраженности признака.

Любопытным представляется летописный фрагмент о перенесении мощей Феодосия Печерского, завершающийся некрологом преподобному. В нем встречаем очередную парную формулу: *Се же сбисса пррченъе блжнаго вца нашего Феодосья добраго пастуха иже пасаше словесныя ввца нелицемѣрно с кротостью и с рассмотреньемъ* (ЛЛ, 71 л.).

Под словом кротость понимается внутреннее спокойствие, смирение. *Рассмотренье* в МСДРЯ толкуется как 'внимательность'. Следовательно, компоненты формулы относятся друг к другу как внутреннее и внешнее, как свойство и отношение, в совокупности реализуя идею о том, что внимательно относиться к окружающим

людям может только человек незлобивый, находящийся в гармонии с самим собой.

Рассмотрим еще один пример: *Бу послужиль еси в тишинѣ въ мншиьскомь житиѣ всако собѣ принесенье бжственое принесль еси пощеньемъ превозвышьса плотьскы **стрстии и сласти** възненавидѣвъ* (ЛЛ, 71 л.).

Значение древнерусского слова *страсть* было близким современному представлению о плотской страсти, слово *сласть* в МСДРЯ толкуется через *страсть* и, кроме того, имеет значение ‘сладострастие’. Также оба компонента формулы объясняются в МСДРЯ через понятие порока – это и есть общая идея, которая сделала возможным существование такой ритмически организованной формулы.

Ранее нам уже встречались парные формулы, компоненты которых подверглись распространению за счет определительных элементов: *Пребывающа в радости бесконечны во свѣтъ неиздреченьнѣмъ* (ЛЛ, 47 л.).

В некрологе Изяславу Ярославичу читаем: *Повезоша и съ нѣсми попове и черноризци понесоша и в град и не бѣ лѣ слышати нѣнья во плачи велицѣ [и] вопли плака бо са по немь весь град Кивевъ* (ЛЛ, 67 об.-68 л.).

Эти примеры интересны тем, что демонстрируют возможность распространения как одного из компонентов парной формулы, так и обоих за счет определений, выполняющих эмоционально-экспрессивную функцию.

На примере контекста, взятого из некролога Ярополку Изяславичу, мы имеем возможность наблюдать любопытную контаминацию формул двух типов – парной и атрибутивной: *Многы бѣды приимъ без вины изгонимъ втѣ братья своя вбидимъ разграбленъ прочее и смръть горкую приять но **въчньи жизни и покою** сподобиса* (ЛЛ, 69 л.-69 об.).

Устойчивый характер сочетания подтверждается данными «Фразеологического словаря старославянского языка» (ср. *животъ въчньи*), в котором значение данного устойчивого оборота дается со ссылкой на сочинения апостола Павла: это ‘будущая, загробная жизнь, жизнь,

которую человек получит при втором пришествии Христа' [ФССЯ]. Вечная жизнь в христианстве противопоставлена тлению: «Что посеет человек, то и пожнёт. Сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную» (Гал. 6:7–8). В целом же исследуемая парная формула может быть охарактеризована как состоящая из сходных по смыслу компонентов.

Парные формулы, приведенные нами выше, помимо семантической близости компонентов, имеют еще одну общую черту – все они состоят из абстрактных существительных, соединение которых также направлено на экспликацию представления об абстрактном.

Интересен пример, взятый из фрагмента о Феодосии Печерском, где имена несколько раз попарно объединяются в формулы: *Наче же имѣти к собѣ любовь всѣм меншим и к старѣишим покореньи и послушанье старѣишимъ же к меншимъ любовь и наказанье и образ бывати собою въздержаньем и бдѣньем хоженьем и смѣреньем* (ЛЛ, 62 л.).

Похожую ситуацию, но уже с негативно маркированными единицами встречаем во фрагменте, повествующем о победе над бесами одного из печерских черноризцев – Исакия. Отрицательная коннотация объясняется здесь выбором объекта повествования: *И тако вза побѣду на бѣсы яко [и] мухы ни во чтоже имаше страшенья ихъ и мечтанья ихъ глицеть бо к нимъ аще ма бѣсте прелстили в печерѣ первое понеже не вѣдахъ кознии ваших и лукавства* (ЛЛ, 66 л.).

Наряду с парными формулами с компонентами-существительными в тексте летописи довольно употребительны устойчивые единицы, построенные на соединении других частей речи. Приведем пример: *Феодосьеви же живуцую в монастыри и правяцую добродѣтельное житье и чернечское правило и приимающую всакого приходящаго к нему к нему же и азъ придохъ худыи и недостойныи рабѣ* (ЛЛ, 54 л.).

Значительно реже в тексте летописи можно встретить парные формулы с компонентами, противоположными друг другу по значению. Наиболее широкое распространение получила в летописи формула, объединяющая компоненты *день* и *ночь* (*ночь*):

*поча жити ту мола ба ядыи хлѣбъ сухъ и тоже чересь днь и воды в мѣру вкушая копая печеру и не да собѣ оупокоя **днь и ноцъ*** (ЛЛ, 53 л.),

*Февдосии же молаше ба за нь и млтву твораше над нимь **днь и ноцъ*** (ЛЛ, 65 об.),

*се же то все терпаше приимаше раны и наготу [и] студень **днь и ноцъ*** (ЛЛ, 66 л.).

Устойчивые парные единицы, подобные рассмотренным, как было сказано выше, являются характерными именно для агиографических фрагментов летописи. Ряд ученых объясняет употребление парных наименований тем, что подобные сочетания играют в тексте роль выразительного средства, но не стоит забывать и о семантическом подходе к рассмотрению парных формул [Колесов, 1990, с. 28]. На наш взгляд, их возникновение действительно объясняется семантически, причем смысловые отношения между компонентами пар могут быть самыми разнообразными.

Дело в том, что человеку на ранних этапах развития языка гораздо труднее было образовывать не конкретные, а именно абстрактные наименования. Последние наиболее часто функционируют именно в текстах конфессиональной направленности, что вполне объяснимо: в этих произведениях на первом месте стоит изображение духовного мира человека, описание его внутреннего пути. Так что первоначально роль таких формул состояла как раз в передаче абстрактных значений, и со временем, когда значения эти нашли пути выражения в языке, парные формулы продолжали в том или ином виде функционировать в древнерусских произведениях, воспринимаясь как одна из ярких особенностей текстов, созданных в русле агиографической традиции.

Парные формулы, как и атрибутивные, нашли частичное отражение в исторических словарях, наиболее распространенные из них известны и современному носителю языка:

Совет да любовь – пожелание согласной, счастливой жизни вступающим в брак.

Тишь да гладь (да божья благодать) – о спокойной, безмятежной жизни.

(И) день и ночь – все время, не переставая.

Итак, атрибутивные и парные формулы представлены в агеографических фрагментах очень широко, чего нельзя сказать о формулах глагольных. Однако последние все же присутствуют в исследуемых частях ПВЛ, но и здесь есть важная особенность: глагольно-именные устойчивые единицы в текстах конфессиональной направленности обозначают не конкретное активное действие (как в деловых и воинских фрагментах), а состояние. Показательно, что в качестве именного компонента здесь выступает слово *любовь*.

Формула *пробывати в любви* структурно и семантически, казалось бы, практически идентична еще одной традиционной формуле – *быти в любви* (неслучайно СРЯ XI-XVII вв. приводит их как взаимозаменяемые). Эти единицы тем не менее отличаются и прежде всего – по функционированию: в отличие от *быти в любви*, стабильно выступающей во фрагментах воинского типа, *пробывати в любви* встречается во фрагментах разной жанрово-стилевой принадлежности, в том числе агеографических. Приведем пример из рассказа о братии Феодосия Печерского: ***Въ любви пребывающе меншии покаржающеса старѣишимъ и не смѣюще предъ ними глати*** (ЛЛ, 63 об.).

Интересным представляется рассмотрение функционирования формулы *имѣти любовь* в агеографических фрагментах. Данная единица в летописи очень частотна и представлена в двух вариантах: *имѣти любовь с* и *имѣти любовь к*. Первый вариант управления характерен для воинских и деловых фрагментов (*любовь-мир*), а второй – для агеографических (*любовь-отношение*). В первом случае передается идея состояния мира, отсутствия войны. Такое употребление встречаем, например, в речи Святополка Окаянного, который, обманывая брата Бориса, говорит ему: ***С тобою хочю любовь имѣти и къ отню придам ти*** (ЛЛ, 45 об.).

Во втором же случае актуализировано основное значение дательного падежа – значение адресата действия. В наиболее общем

виде этот вариант формулы можно представить как *имѣти любовь к + обозначение лица в Д.п.* Рассмотрим один из контекстов: *Наче же имѣти к собѣ любовь всѣмъ мѣншимъ и к старѣишимъ же к меншимъ любовь и наказанье* (ЛЛ, 62 Л.).

Любовь в данном случае становится личным чувством. Оно имеет объект, на который и оказывается направлено: охватывая все существо человека, она переходит и на ближнего. Более того, в этом фрагменте поучения дан пример разграничения – *меншимъ к старѣишимъ* наказано проявлять одно, *старѣишимъ к меншимъ* – иное, то есть «меньшие» и «старейшие» уже не пребывают в едином заданном состоянии (ср. приведенные ранее примеры, в которых формула репрезентирует любовь как отношение политического мира и согласия), а являются носителями определенных чувств, которые необходимо проявлять по отношению друг к другу. С помощью этой языковой единицы в агиографических фрагментах передано отношение праведника к окружающим его людям. Это уже не взаимное (ср. *имѣти любовь с*), а направленное чувство.

Итак, древнерусские произведения, связанные с конфессиональной сферой, с самого начала отличались от текстов деловой или военной тематики особой экспрессивностью, ярко выраженной оценочностью, характерными для современной публицистики. Отсюда и выбор типов формул. Типичными для конфессиональных летописных фрагментов можно считать атрибутивные и парные формулы. С точки зрения семантики атрибутивные формулы конфессиональных летописных фрагментов являются частью религиозной христианской терминологии. Такие сочетания возникли из необходимости специализации того или иного понятия посредством его описания. Большая часть изученных летописных парных формул состоит из двух существительных, соединенных союзом, стоящих в одной и той же грамматической форме и выполняющих одинаковые синтаксические функции. В смысловом отношении компоненты парных формул, как правило, близки, реже встречаются сочетания, компоненты которых связаны по типу метонимии (*горести и бользни*), также

отмечены единичные случаи парных формул с противоположными по значению компонентами (*день и ночь*).

Употребление именно атрибутивных и парных формул в летописных фрагментах агиографического типа не случайно. Необходимость передавать понятия мира духовного диктовала выбор языковых единиц: большинство атрибутивных сочетаний имело характер христианских терминов (*постное время, царство небесное* и др.), также формулы этого типа были способны представлять обозначаемый объект действительности таким, каким он должен быть – соответствующим аксиологическим установкам того времени (*великий князь, бѣсовское унынье* и др.). Парные же формулы создавались с целью дать максимально полную характеристику обозначаемому, которое несло отнюдь не конкретный смысл.

ГЛАВА II. КАТЕГОРИЯ ОЦЕНКИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ДРЕВНЕРУССКИХ ЛЕТОПИСЯХ

2.1. Летописный текст сквозь призму категории оценки

Понятие оценки рассматривается в различных областях знания (философии, психологии, литературоведении, лингвистике и т. д.), поэтому «оценка получила множество интерпретаций в зависимости не только от научной дисциплины, в рамках которой она осмысляется, но и от научной парадигмы и подхода к ее изучению» [Пантеева, 2020, с. 48]. Так, природа оценки издавна интересовала представителей философской науки: «В трактатах крупнейших европейских философов о природе человека имеются дефиниции основных понятий, относящихся к добру и злу (хорошему или плохому), должному и недолжному» [Арутюнова, 1999, с. 133]. В работах философов исследуются способы существования ценностей, соотношение ценности и предмета, взаимодействие субъективной оценки и социальных ценностей, соотношение объективного и субъективного измерений ценностей, внеположность ценностей как субъекту, так и объекту и др. [Бычкова, 2019, с. 100–101].

Лингвисты также активно занимаются изучением данной категории, в связи с чем появилось особое научное направление – аксиологическая лингвистика (лингвоаксиология), одним из ярких представителей которого является В. И. Карасик [Болотина, 2013, с. 22]. Исследование языка в аксиологическом аспекте «предполагает определение того, что человек считает ценным и каким образом функционируют языковые механизмы, удерживающие в лексической системе языка знания о хорошем и плохом, красивом и некрасивом, добродетельном и порочном, приятном и неприятном, полезном и вредном и т. п.» [Болотина, 2013, с. 22]. Таким образом, оценка, являясь одной из важных сторон интеллектуальной деятельности человека, основывается на системе человеческих ценностей, т. е. на соотношении истины и лжи, добра и зла и т. д.

По мнению Л. А. Сергеевой, оценкой можно считать только такое мнение о предмете, которое выражает характеристику послед-

него через соотнесение его с категорией ценности, категория ценности же изучается в философии, психологии, социологии, культурологии, логике и других науках [Сергеева, 2003, с. 47]. Итак, оценка связана с ценностью, в то же время эти понятия не равнозначны: ценность – это то, что мы оцениваем (предмет оценки), а оценка – это сам процесс оценивания, т. е. «умственный акт, результатом которого является определение ценности для человека конкретного предмета действительности», кроме того, оценка может быть положительной и отрицательной, она субъективна и «зависит не только от качества самой объективной ценности, но и от социальных и индивидуальных качеств оценивающего субъекта», тогда как ценность «имеет только положительный знак», она объективна «как порождение практического отношения» [Скопич, 2007, с. 156–157]. Существует и широкое понимание ценности «как обозначения принадлежности того или иного явления к аксиологической шкале», такой подход «позволяет упростить терминологический аппарат и исключить постановку знака равенства между понятиями ценности и нормы» [Бычкова, 2019, с. 101].

Лингвисты, которые изучают функционирование языковых единиц, обычно разграничивают также понятия оценки и оценочности: первое – действие субъекта, а именно «приписывание положительных или отрицательных свойств тому или иному объекту, выражение отношения к данному объекту, фиксация объекта на оценочной шкале и в аксиологическом поле», а второе – «свойство речевой единицы, ее потенциал, способность эксплицировать положительные или отрицательные свойства объекта, его место на оценочной шкале и в аксиологическом пространстве» [Марьянчик, 2011, с. 101]. В научных работах обычно выделяют языковые средства реализации оценочности (лексические, грамматические, синтаксические, графические и др.), с помощью которых формируется аксиологическое пространство высказывания (текста), выражается отношение субъекта к тому, о чем идет речь. В связи с тем, что категория оценки «пронизывает все уровни языка и тесно связана с миром оценивающего человека», изучение особенностей языкового выражения этой

категории «остаётся многоаспектным, во многом спорным и открытым вопросом» [Фомина, 2007, с. 152].

Оценка является универсальной категорией, в то же время средства ее выражения в разных языках имеют определенную специфику. Кроме того, в связи с изменениями в жизни того или иного общества могут происходить трансформации системы ценностей и, как следствие, эволюция категории оценки: «Категория оценки как неотъемлемая часть антропоцентрической системы языковой репрезентации восприятия окружающего мира носителем русского языка представляет собой категорию историческую, детерминированную длительным периодом ее развития на диахронической оси истории литературного языка с момента его зарождения до наших дней и потому эволюционирующую во времени» [Мирзоева, 2013, с. 123]. В связи со сказанным логично предположить, что еще в древнерусском языке начинают формироваться специализированные средства выражения оценки, которые можно обнаружить в текстах. При этом важно учитывать, что реализация категории оценки в древнерусском тексте зависит от прагматических установок субъекта и обусловлена ориентацией на канонические тексты, или на мегатекст. Н. С. Ковалев определяет мегатекст как систему нормативных текстов эпохи, которая была воспринята древнерусской культурой, макротекст как «речевое произведение, отвечающее критериям текстуальности и функционирующее в системе жанрово-стилевых форм подобных смысловых образований», а микротекст как «функционально-смысловой или композиционный отрезок макротекста, реализующий частные оценки объекта в конкретной ситуации речи» [Ковалев, 1997, с. 18].

Древнерусские оригинальные тексты, к которым относятся и летописи, отражают так или иначе языковую ситуацию, сложившуюся после принятия христианства, когда происходит смена стереотипов сознания, в результате чего меняется представление об основных ценностных категориях, таких как добро, зло, истина, ложь, грех и т. д. В то же время, как справедливо отмечает Н. С. Ковалев, «освоение русичами-неофитами новых представлений о мироздании и миропо-

нимании через книжные тексты происходит с опорой на коррелирующие концепты дохристианской системы оценок» [Ковалев, 1997, с. 9]. Этнические ценности не могли нивелироваться, они могли лишь трансформироваться: «Христианство легло на хорошо подготовленную, в том числе и этически, почву. Структурная схема идеальных сущностей отражала реальные связи и отношения, известные человеку по жизни на земле» [Колесов, 2001, с. 102].

В исследованиях Н. С. Ковалева четко обозначены представленные в древнерусских текстах типы оценок, каждый из которых представляет особую концептуальную систему: 1) объективированные теистические оценки (сфера мистического субъекта), 2) обыденные этические оценки (принадлежат миру, человечеству в целом), 3) субъективно-оценочные высказывания (принадлежат отдельному человеку, субъекту текста) [Ковалев, 1997, с. 15]. По мнению ученого, «главным смыслообразующим фактором для текстов этого времени следует признать первый тип оценок» [Ковалев, 1997, с. 16], и с этим трудно не согласиться.

Н. С. Ковалев полагает, что теистическая оценка (исходящая от Бога) базируется на таких универсальных понятиях, как добро и зло, истинность этой оценки бесспорна для книжников и является главным смыслообразующим фактором в древнерусских текстах [Ковалев, 1997, с. 16]. В то же время представление о добре и зле существует у каждого человека в отдельности и у человечества в целом, следовательно, рассматриваемые единицы выражают также субъективную и обыденную этическую оценку [Ковалев, 1997, с. 15]. Добро принадлежит к универсальным философским понятиям, поэтому его осмыслению посвящено большое количество философских работ (см. сочинения Аристотеля, исследования Т. Гоббса, Б. Спинозы, И. Канта, работы русских философов Н. А. Бердяева, В. Соловьева). Русскому человеку всегда была «свойственна абсолютизация моральных измерений человеческой жизни, акцент на борьбе добра и зла – добро выступает одним из главных мировоззренческих понятий, ядром национального и индивидуального сознания» [Вежбицкая, 1997, с. 34], «...категория добра „работала“ практически во всех

сферах жизни средневекового человека – от витальной до социальной и религиозной, от этической до эстетической, оказывая влияние на формирование многих абстрактных понятий мира духовных сущностей» [Вендина, 2002, с. 181]. Неслучайно уже в течение многих десятилетий вопросы, связанные с представлением о добре в русском языковом сознании, вызывают большой интерес у ученых-лингвистов. Изучением истории изменения представления о добре в языковом сознании русских людей занимались Т. И. Вендина, В. В. Колесов, А. Д. Шмелев и др.

Древнерусская книжность является социокультурным феноменом, представляющим собой некий «макротекст», который содержит, с одной стороны, произведения православной Византийской культуры (освоенные ею), с другой – оригинальные тексты; она стала основанием, «на котором создавалась христианская культура на русской почве, в результате миссионерской деятельности греческого духовенства, распространявшего христианские идеи в восточных славянских языках, и реализации политических интересов киевских князей» [Киселева, 2001, с. 202]. Летописный текст, будучи текстом оригинальным, не переводным, тем не менее является хранителем христианских идей, заимствованных в виде догм. Несмотря на сложный состав русских летописей (они, как правило, являются сводами предшествующих текстов и включают записи событий, тексты договоров, фольклорный материал и т. д.), каждая из них продолжает оставаться цельным литературным произведением, имеющим свой замысел, структуру, идейную направленность [Данилевский, 2004, с. 23].

Летописи занимают особое место среди сохранившихся до наших дней письменных памятников, обычно говорят о том, что они близки западноевропейским анналам и хроникам. Традиционное представление о летописи как об историческом произведении, состоявшем из погодных записей, сложилось еще тогда, когда исследователи только начали изучать эти тексты, в первую очередь обращая внимание на историю создания летописных сводов. Фактически долгие годы в науке бытовало мнение о том, что все повествование в лето-

писях подчинено именно погодным изложениям, а главная задача летописца – сохранить исторические события Руси в памяти народной. Так, по мнению Д. С. Лихачева, летописец стремится «фиксировать события для памяти и извлекать их для памяти из других писаний: не рассказывать историю, а закреплять в сознании исторические факты» [Лихачев, 1979, с. 260]. В этой связи летописные тексты интересовали прежде всего историков (начиная с В. Н. Татищева), которые пытались вычленить соответствующие исторические события и изложить их для современного читателя.

Безусловно, погодные записи необходимо признать главной формой летописания, однако не следует забывать и о том, что летописцы могли по-своему интерпретировать тот или иной исторический факт, а возможно, и умалчивать о некоторых: «Чаще всего звучат предположения о том, что летописание – это род публицистики, облеченной в форму исторического сочинения... Но наличие политической тенденции отнюдь не доказывает, что основной целью летописца было написать “политический памфлет”» [Гимон, 1998, с. 9]. Так с какой же целью все-таки создавались летописи? Т. В. Гимон считает, что у летописания существовала определенная цель и она была единой для всех памятников этого жанра: «Таким образом, при нынешней степени знакомства с материалом мне кажется наиболее вероятным предположение о летописях как о документах, рассчитанных на то, чтобы к ним обращались с целью получить аутентичную информацию о прошлом для доказательства чего-либо в настоящем» [Гимон 1998, с. 14]. Как видим, при таком подходе летописи сравниваются с юридическими документами (в первую очередь с официальными протоколами), в которых можно найти соответствующие прецеденты.

По мнению И. Н. Данилевского, летописи имели эсхатологическое значение: начиная со второй половины XI в. они приобретают функцию «книг жизни», в которые записывались деяния людей и которые должны были фигурировать на Страшном суде: «Созданный летописцем перечень деяний людей и их моральных оценок, видимо, в первую очередь предназначался для Того, Кому в конце

концов должны были попасть летописные тексты. А уж Он-то, вне всякого сомнения, мог разобраться с любым “ребусом”, созданным человеком...» [Данилевский, 1995]. Ученый считает, что летописец прежде всего «был христианином в полном смысле этого слова», поэтому он не мог не ориентироваться «на христианскую систему нравственных ценностей» [Данилевский, 1995].

На наш взгляд, обе приведенные точки зрения на цель летописания заслуживают внимания хотя бы потому, что в них представлен новый взгляд на хорошо известный текст, попытка интерпретации текстового материала с учетом широкого историко-культурного контекста.

Исследованием летописей занимались не только историки, но и литературоведы, а также лингвисты. Как литературные произведения летописи изучены Д. С. Лихачевым, который не только выявил специфику летописного жанра («объединяющий жанр» древнерусской литературы), но и определил стилистическую неоднородность летописи. Неоценима заслуга академика А. А. Шахматова, который занимался текстологическим исследованием летописей, применив к анализу принципиально новые (для того времени) подходы: как известно, он выявил разночтения и так называемые общие места, классифицировал полученные данные и определил списки, имеющие совпадающие разночтения, что позволило сгруппировать списки по редакциям и воссоздать предполагаемые исходные тексты. Долгие годы методика работы А. А. Шахматова и его последователей с текстовым материалом русских летописей не подвергалась критике, однако сегодня уже можно сказать о недостатках такого подхода к тексту и в первую очередь о том, что за пределами остался большой круг проблем, связанных с пониманием смысла, значения, как отдельных языковых единиц, так и всего текста в целом. Необходимо учитывать, что летопись создавалась автором или коллективом авторов, которые были носителями древнерусского языкового сознания и использовали образную систему, хорошо знакомую их современникам, но не всегда понятную нам. Неудивительно поэтому, что дословный перевод этих текстов, даже выполненный профессиональными

лингвистами, зачастую остается непонятен, так как сделан без учета исторического и, главное, культурологического контекста.

Исходя из сказанного выше, следует признать существование второго плана повествования в текстах летописей, возможно, это план эсхатологический (как предполагает И. Н. Данилевский), хотя в то же время мы не можем не учитывать и наличие прецедентов, о которых говорит Т. В. Гимон (это наиболее показательные события, прокомментированные в текстах, а также наиболее заметные исторические персонажи). Однако в любом случае летописный текст должен анализироваться сквозь призму той оценки, которая эксплицитно или имплицитно выражена в языковых единицах. При этом важно иметь в виду, что в рассматриваемом тексте будет преобладать оценка теистическая, исходящая от Бога.

Каждый исследователь памятников древнерусской письменности неизбежно сталкивается с проблемой, решить которую очень сложно без тщательного контекстуального анализа тех или иных словоупотреблений. Это проблема языкового синкретизма, связанного с синкретизмом сознания древнего человека. О синкретичности древнего имени написано достаточно много, и тезис о том, что «объективная действительность преломлялась в сознании древнерусского человека в мифологической форме и в этой связи находила свое выражение в синкретичных языковых единицах» [Безман, 2001, с. 35], лишней раз подтверждает мысль о специфике мировосприятия, которое накладывает свой отпечаток на развитие тех или иных языковых явлений.

Итак, при проведении лингвистического анализа древнерусских текстов необходимо учитывать тот факт, что в средневековом сознании слово – это синкретически воспринимаемое единство звучания и написания, формы и значения, термина и стиля. Как отмечает В. В. Колесов, слово-символ включает в себя все возможные значения, поскольку в данной системе слово по существу синкретично, в нем нет конкретных значений, равных значениям слова в современном языке; «значения» семантического спектра актуализируются каждый раз в отдельном контексте в данной формуле-клише [Колесов, 2001, с. 100].

сов, 2002, с. 286]. Следовательно, древнерусское слово имело сложную семантическую структуру, то или иное значение лексической единицы проявлялось в контексте, который мог быть очень узким (на уровне формулы). И что особенно важно, именно принцип отбора и соединения формул создает жанровые ограничения текста, стабилизация жанра в его единстве со стилиевыми средствами происходит, по мнению В. В. Колесова, уже после XV в., когда завершается процесс столкновения языческого синкретизма с христианским символизмом [Колесов, 1989, с. 270–274].

2.2. Оценочная лексика как средство смысловой организации текста «Повести временных лет»

«Повесть временных лет» (далее ПВЛ) называют литературно изложенной историей Руси. Признавая уникальность этого произведения, многие исследователи обращают внимание на то, что одной из основных идей этого текста является идея об объединении русской земли, тем самым подчеркивается связь с политической действительностью того времени: «“Повесть временных лет” сама стала “исхождением мудрости” для последующих летописцев. С нее они начинали свое изложение, ее идеи продолжали, в ее содержании видели в пору феодальной раздробленности и “злой татарщины” живое свидетельство единства Русской земли» [Повесть временных лет, 1950, с. 6]. Конечно, идея единства Руси имела огромное значение, однако объединяющей силой был не князь (как часто говорят), а Бог, о чем пойдет речь ниже.

Исследуя семантику языковых единиц, представленных в «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку, мы обратили внимание на тот факт, что даже в погодных записях, где описываются, на первый взгляд, достаточно беспристрастно, исторические события, обнаруживается некий второй план изложения, «закодированный» автором (или группой авторов). Прочитать такую информацию – значит раскодировать ее, а для этого необходимо, конечно, иметь эти коды. Современному читателю, к сожалению, не всегда удастся понять текст так, чтобы уловить не только поверхностный

пласт (он считывается очень легко, без особых усилий), но и глубинное содержание того или иного произведения древнерусской литературы. Употребление единиц категории оценки является, по нашему мнению, одним из способов кодирования информации, наряду с включением библейских цитат и реминисценций. Вопрос о том, что же пытается донести до читателя автор ПВЛ (если вообще можно говорить только об одном авторе, учитывая то, сколько раз перерабатывался и переписывался текст), давно волнует ученых. Сейчас уже очевидно, что для автора было важно, во-первых, охарактеризовать исторические персонажи с точки зрения их моральных качеств, во-вторых, оценить происходившие события с позиции христианина.

Итак, в ПВЛ представлена не столько история Руси как таковая, сколько история ее христианизации. Так как в христианском вероучении Бог – высшее начало, совершенство, земной путь человека должен быть озарен божественной идеей, в течение своей жизни человек должен стремиться к совершенству, т. е. к Богу, без этого стремления человеческая жизнь – это путь греха, путь к Дьяволу. Данной идее подчинена смысловая организация самого известного памятника древнерусской литературы – «Повести временных лет». Оценочные единицы помогают создать «текст в тексте», когда на поверхностном уровне мы считываем одну информацию (в данном случае это информация об исторических событиях и лицах), а на глубинном, идейном – совсем другую.

Как мы уже говорили выше, главным смыслообразующим фактором в древнерусских текстах является теистическая оценка (исходящая от Бога), которая базируется на таких универсальных понятиях, как *добро* и *зло*. Обратимся к этимологии этих слов. По своему происхождению общеславянское *zьль восходит к и.-е. корню *g'hul- ‘изгибаться’, ‘кривиться’, ‘изворачиваться’, ‘кривить душой’ [ИЭССРЯ], а общеславянское *dobъ – к и.е. *dhabh- ‘соответствовать’, ‘подходить’, ‘быть удобным’ [ИЭССРЯ]. Исследователи также отмечают, что «в родственных индоевропейских языках корень, который связан у нас с обозначением зла, может значить всякое: наглый, грубый, несправедливый, кривой, плохой, жестокий, лжи-

вый, просто бесчеловечный и т. д. – полный спектр отрицательных характеристик человека (если говорится о человеке) в их самых конкретных проявлениях» [Колесов, 2001, с. 123]. Таким образом, выделить изначальное значение не представляется возможным, необходимо говорить о том, что «слово зъло в исходном своем (синкретическом) смысле обозначало всю множественность отрицательного мира в случае, когда требовалось этот мир назвать» [Колесов, 2001, с. 123]. Что касается прилагательного *добро*, то его первоначальное значение определяется большинством ученых как ‘годный’, ‘подходящий (по характеру, виду, свойству)’ [ИЭССРЯ].

Все, что доступно для понимания человека, что он может увидеть, почувствовать, осознать, определить, может быть только добром, но не благом, поскольку последнее слишком отвлеченное понятие. Неслучайно в исторических словарях мы находим существительные *благо* ‘благо, добро’ [СДРЯ] и *добро* ‘все положительное, хорошее; то, что хорошо, полезно, приятно; добро, имущество, пожитки’ [СДРЯ], ‘благо; доброта; имение’ [МСДРЯ], ‘все хорошее, доброе, честное, благопристойное; счастье; имущество, богатство’ [СРЯ XI–XVII вв.]. Таким образом, авторы словарей не смогли толковать *благо* иначе, как через *добро*, поскольку именно последнее конкретизировано в нашем сознании. Однако и *добро* может трактоваться как *благо*, но в этом случае *добро* – наивысшая степень проявления этого качества, поскольку изначально *благо* – атрибут сферы Бога, Бог и есть *благо*.

В тексте ПВЛ отчетливо прослеживается авторская позиция, позиция не язычника, а христианина. Если первый представлял добро и зло как «две самостоятельные, независимые, но противоположные силы, управлявшие человеческой волею» [Колесов, 2001, с. 130], то в сознании второго этой определенности уже нет, добро и зло теперь имеют различные степени своего проявления, которые «незаметными переходами качеств способны поднять человека от самого страшного зла к тому совершенному благу, которое только и есть совершенство» [Колесов, 2001, с. 129].

Восприятие зла как некоего образа, неконкретного, но всегда угрожающего бедой, влекущего за собой горе, отражается прежде

всего в связи с дьяволом и его деяниями. Отсюда и значение прилагательного *зълъ* ‘приносящий зло’, которое отмечается в словаре И. И. Срезневского в контекстах *о зълое же дияволе, нечистыми дхъ и зълъ* [МСДРЯ]. Однако наиболее распространенным в древнерусских памятниках является прилагательное со значением ‘дурной, плохой, злой’, которое могло употребляться при характеристике человека (*зълыми рабъ, зълъ члкъ*) и связанных с ним явлений (*зълыхъ дблъ, злаго пути, злу славу, злыя мысли, зълъ видомъ*), а также явлений материального мира (*дрбво зъло, зyla вонь*) [МСДРЯ]. Кроме того, И. И. Срезневский приводит также значения ‘низкий, бесчестный’, ‘бедственный’, ‘тягостный’, ‘насильственный’, ‘жестокий’ [МСДРЯ]. В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» отмечены следующие значения прилагательного *зълъ*: ‘плохой, дурной’, ‘злой, свирепый, жестокий’, ‘злой, дурной человек’, ‘враждебный, недоброжелательный, свойственный недоброжелательному’, ‘неправедный, нечестивый’, ‘очень сильный по степени проявления, жестокий’, ‘губительный, пагубный’, ‘крепкий, острый’ (*злой укус*) [СРЯ XI–XVII вв.]. Как видим, в рассматриваемых словарях приведены различные значения, это обусловлено тем, что в качестве примеров взяты памятники различных веков и жанров. В целом можно сделать вывод, что семантическая структура прилагательного достаточно сложна, актуализация той или иной семы зависит, судя по всему, от жанровой принадлежности текста, его прагматики, времени написания.

В исторических словарях мы находим большое количество значений прилагательного *зълъ*, при этом, согласно приведенным контекстам, по отношению к человеку применимы значения ‘дурной, плохой, злой’ (*зълыми рабъ, зълъ члкъ*) [МСДРЯ], ‘злой, свирепый, жестокий’ (*злаго гна, злыми дльжник*), ‘враждебный, недоброжелательный’ (*кто будет мнъ золь*), ‘неправедный, нечестивый’ (*князи зли*) [СРЯ XI–XVII вв.]. Заметим, что в греческом источнике *какос* ‘плохой, дурной, злой, трусливый (в физическом и нравственном отношении)’, а *повηρος* ‘доставляющий много труда, хлопот, дурной, худой, плохой, негодный, испорченный, (нравственно) худой, дурной, низкий, подлый, бесчестный’. Таким образом, при ха-

рактистике человека могли употребляться оба греческих имени, а при характеристике предмета только второе. На славянской почве эти различия снимаются, прилагательное зль функционирует и в том, и в другом случае. Как отмечает В. В. Колесов, злым может быть все то, что «является постоянным признаком лица или явления, хотя этот признак и дан дьявольским наущением» [Колесов, 2001, с. 124].

Как указывает В. В. Колесов, первоначально слитное представление о зле постепенно разрушается: зло начинает пониматься как грех (уже в текстах XI в.), с конца XIII в. беда как еще одно конкретное проявление зла (связано с нашествием иноплеменных народов), попутно образуются суффиксальные слова (*злоба*), зависть как злоба, т. е. тоже проявление зла, далее продолжается «иссечение конкретных смыслов старого слова зло», зло уравнивается в правах с добром и с благом, становится общим понятием [Колесов, 2001, с. 126].

Благо – добро – зло представляют собой линию степеней добра, которая, однако, была слишком отвлеченной, а потому не стала органически цельной для древних славян, для которых эта цепочка распадалась на пары: благо – добро, добро – зло, а может быть, и благо – зло [Колесов, 2001, с. 114]. В древнейших славянских памятниках прилагательное добръ употреблялось по отношению к мирскому, вещественному, по отношению к человеку, а за небесным, духовным, божественным закрепляется *благъ* [Колесов, 2001, с. 108]. В текстах более поздних при сохранении в большинстве примеров указанной приуроченности наблюдается ее разрушение, когда *добръ* начинает употребляться в контекстах, где речь идет о Боге, божественном проявлении, о духовной жизни праведников и т. д. Так, в ПВЛ по Лаврентьевскому списку нами отмечено 6 подобных случаев, например: *почивъ в старости добръ в монастыри семь* (ЛЛ, 64 об.), *блжнаго вца нашего Феодосья добраго пастуха* (ЛЛ, 71 л.), *доброу мдрсти Бжъи* (ЛЛ, 18 л.) и др. С другой стороны, *благъ* в ряде случаев находим не в религиозных контекстах, а в там, где повествуется о земной человеческой жизни, например: *дѣть бо мужеву своему блго все житъе* (ЛЛ, 25 об.) (речь идет о жене, которая заботится о муже). Следовательно, с течением времени в паре *благъ – добръ* про-

исходит изменение закреплённости за религиозным и нерелигиозным контекстом.

В ПВЛ представлены не только существительное *благо* и прилагательное *благъ*, но также и композиты с начальным *благо-*, хотя говорить о разнообразии таких имен не приходится, что, конечно, обусловлено жанром летописи: указанные имена принадлежат к религиозной (христианской) терминологии, это своего рода слова-термины, либо калькированные с греческого, либо собственно славянские [Никифорова, 2005, с. 56], а так как летописи традиционно считаются особым жанром древнерусской «светской» литературы, то и подобного рода терминов здесь должно быть немного.

Одним из таких наиболее ярких в смысловом и идейном плане композитов является существительное *благодать*. В исторических словарях *благодать* ‘добро, благодеяние; благодать, дар, милость (божья); полнота благ, довольство, блаженство; благодарность, благодарение; слава, хвала (по отношению к богу)’ [СДРЯ]. Как указывает В. В. Колесов, «с середины XII в. благодать в понимании русских – это ниспосланная свыше спасительная помощь, благосклонность и милость бога, которая и связана с Богом» [Колесов, 2001, с. 118]. Действительно, *благодать* ‘дар, милость (божья)’ находим в отрывке, где речь идет о том, как Андрей Первозванный увидел место, на котором позднее был воздвигнут город Киев: *заоутра въставъ и реч к сущимъ с нимъ ученикомъ видите ли горы сия яко на сихъ горахъ восияеть блгдть Бжъя иматъ градъ великъ и цркви многи Бъ въздвигнути иматъ въшедъ на горы сия блви я постави крсть и помолвивъса Бу* (ЛЛ, 3 об.). В следующем примере *благодать*, скорее, ‘полнота благ, довольство, блаженство’: *не вѣдѣи яко Бъ гордымъ противитса смѣренымъ даеть блгдть да не хва[ли]тса сильныи силою своею* (ЛЛ, 67 об.) (отрывок о князьях Олеге, Борисе, Всеволоде, год 1078).

В легенде о Борисе и Глебе также обнаруживаем композит с *благо-*: *поваръ же Глѣбовъ именовъ Торчинъ вънезь ножь зарѣза Глѣба акы агна непорочно принесеса на жертву Бви в воню блгоуханья жертва словесная и прия вѣнецъ вшедъ въ нбсныя вбители* (ЛЛ, 47-47 об.). В данном случае важно, что жертва принесена Богу,

это жертва словесная, т. е. ‘разумная’ [МСДРЯ], а возможно, и ‘духовная’ [МСДРЯ]. В словаре *благоуханье* – ‘приятный запах, аромат, благоухание; запах сжигаемой жертвы, кадильный дым, перен. жертва; ароматическое вещество, благовоние’ [СДРЯ], причем в словарной статье выделено именно приведенное сочетание *воня благоухания* ‘жертва’ (указан наш пример). Аналогичный пример находим в рассказе о пророчестве Феодосия: *паче же ревноваше великому Феодосью нравомъ и житьемъ подобася житию его... и вбычнъя молбы Бу въздая в воню блгоуханья приноса кадило молитвеное темьянь блговоньныи* (ЛЛ, 71 об.). Кроме того, здесь же *блговоньныи* ‘издающий благоухание, приятный запах; ароматный’ [СДРЯ].

Несколько раз в ПВЛ упоминается князь Всеволод, характеризующийся композитами с начальным *благо-*: *изиде противу ему блговѣрныи князь Всеволодъ с своима снѣма* (ЛЛ, 69), *тогда же зажгоша дворъ красныи егоже поставиль блговѣрныи князь Всеволодъ* (ЛЛ, 77 об.). Согласно данным исторических словарей, *блговѣрныи* – ‘преданный истинной вере, православный; благочестивый’ [СДРЯ], однако в приведенных контекстах нет никакой информации о том, почему именно Всеволод назван благоверным, об этом мы читаем позднее: *сии бо блговѣрныи князь Всеволодъ бѣ издѣтска болюбивъ любя правду набда оубогыя въздая чсть епспомъ и презвутером излиха же любаше черноризци подаяше требованье имъ бѣ же и самъ въздержаса вт пѣя[нь]ства и вт похоти тѣмъ любимъ бѣ вцемъ своимъ яко глати вцю к нему сну мои благо тобѣ яко слышю в тобѣ кротость и радуяса яко ты покоиши старость мою* (ЛЛ, 72 л.). Итак, *благоверный* здесь то же самое, что *благочестивый* ‘православный, основанный на благочестии; святой; праведный, добродетельный, набожный, соблюдающий правила благочестия’ [СДРЯ], *благочестие* и есть ‘правоверие, истинное почитание бога, следование божественным заповедям, праведность’ [СДРЯ]. Князь Всеволод назван также *благородным* и *великим*: *[С]ица быс цркви Печерьская стья Бца манастыра Феодосьева...при блгороднѣмъ князи Всеволодъ державному Русьскыя земля и чадома его Володимера и Ростислава* (ЛЛ, 69 об.), *престависа великыи князь Всеволодъ снѣ Ярославль внукъ Володимеръ* (ЛЛ, 72 л.). В последнем при-

мере мы явно видим некую формулу. Первый же случай заслуживает комментария, так как в словаре *благородьныи* ‘знатный, благородного происхождения’ [СДРЯ], однако в таком случае князь всегда благороден, но в тексте ПВЛ указанный композит употребляется лишь в отношении Всеволода, что, по нашему мнению, весьма показательно: *благородный, благоверный и благочестивый* здесь – характеризующие имена, являющиеся по сути синонимами.

Таким образом, композиты с начальным *благо-* в исследуемом тексте являются смысловыми, а также стилистическими маркерами и имеют значительный этико-эстетический потенциал, при этом имена могут формировать понятийное поле, в данном случае речь идет о поле «благочестие», единицами которого являются сложные слова *благовѣрънь, благочъстивъ, благородьнь*. Кроме того, все рассмотренные имена, будучи смыслообразующими единицами, однозначно толкуемыми в силу их формульности, эксплицируют теистическую оценку, т. е. оценку, исходящую от Бога.

В тексте ПВЛ по Лаврентьевскому списку прилагательные *добръ – зль* в большинстве случаев употребляются независимо друг от друга. Изменение семантики первого слова происходит от начального значения ‘полезный, пригодный’ (добро древо (ЛЛ, 29 л.)) с развитием значений ‘красивый, приятный на вид, ладный’ (*видѣвъ ю добру сущю* (ЛЛ, 17 об.)), ‘истинный, правильный’ (*добраго житья* (ЛЛ, 71 л.)), а также ‘знатный, почтенный’ (*мужи добри* (ЛЛ, 25 л.)), ‘отзывчивый’ (*добрии члвци* (ЛЛ, 53 л.)). Второе слово чаще всего обозначает ‘приносящий зло’ (т. е. связанный с дьяволом), ‘низкий, бесчестный’ [МСДРЯ], причем в большинстве случаев одно от другого невозможно отделить, например: *Стополкъ же съ вканыньи и зльи оуби Стослава* (ЛЛ, 47 об.). Таким образом, можно говорить о том, что добро имеет внешние проявления (красота и польза), за которыми скрывается истина, зло же не имеет обличия, его не видят, с ним сражаются, зло – действие, а добро – качество [Колесов, 2001, с. 115].

Приведем пример, в котором прилагательное *зль* сочетается с существительным, обозначающим конкретное понятие: *естъ же могъла его в пустыни и до сего дне исходить же ѡт нея смрадъ*

золь (ЛЛ, 49 об.). В словаре И.И. Срезневского приведено слово *срадъ* со значением ‘зловоние’, ‘мерзость’ [МСДРЯ], таким образом, в семантической структуре данного имени представлена сема ‘плохой, дурной’ (запах), т. е. злой, однако автор употребляет указанное существительное в сочетании с прилагательным *зль*, благодаря чему усиливается степень проявления признака (запах не просто плохой, а очень плохой, отвратительный), следовательно, прилагательное выступает со значением ‘очень сильный по степени проявления’ [СРЯ XI–XVII вв.]. Аналогичное значение репрезентируется и в следующем примере: *радуитася яко вся напаяюща срдца горести и бользні стрсти злья ицѣляюща каплами кровньми стьми ичвервиша баграницю славная* (ЛЛ, 47 об.). В данном случае *страсти* – это ‘страдания, мучения’ [МСДРЯ], от которых людей избавляют святые Борис и Глеб. Если несчастье и болезни можно прогнать, то страсти злые (т. е. страдания) должны быть исцелены. В сочетании с существительными *брань*, *сѣча* прилагательное *зль* также имеет значение ‘очень сильный по степени проявления, жестокий’: *и брани межю ими бывши зьли* (ЛЛ, 10 л.), *быс сѣча зла* (ЛЛ, 48 об., 49 л, 51 л., 56 об., 67 об.). В словаре И. И. Срезневского приведены аналогичные примеры *пожаръ зль*, *голодь золь* [МСДРЯ]. Очевидно, появление таких выражений связано с тем, что зло влечет за собой беду, горе, а военные действия всегда предполагают последнее.

Проанализировав употребление единиц категории оценки в тексте ПВЛ, мы установили, что они формируют систему, включающую слова, сопряженные семантически, и в этой системе можно выделить две подсистемы – благо (добро) и зло. Обусловлено это представлением об изначальной дихотомии мира, Бог и Дьявол (благо и зло) выступают как две равные сущности, человек же вправе выбрать ту или иную сторону, причем сделать он это может в любой момент своей земной жизни. Система представлений о благе и зле является важным источником получения информации о способах и результатах познания мира древними русичами. Именно эта система, основанная на архаических представлениях об устройстве мира, развернуто репрезентирована в тексте ПВЛ. Каждый поступок человека,

каждое происходящее событие оцениваются сквозь призму данных этических категорий, однако существующая система оценки (см. выше) не позволяет однозначно интерпретировать тот или иной факт, а образ того или иного персонажа бывает иногда достаточно сложным. Так, князь Владимир оценивается крайне негативно в ту пору, когда он был язычником (женолюбец, прелюбодей и т. д.), приняв же христианскую веру, Владимир становится праведником. В этом случае репрезентирована именно теистическая оценка, а пример наглядно иллюстрирует, что для автора было важно показать не историческую личность, а человека, нашедшего единственно правильный путь в жизни – путь к вере.

В первую подсистему будут входить слова, связанные со сферой божественного, так как Бог и есть благо. Такие единицы называют мистические субъекты, обозначают атрибуты веры, церкви, характеризуют человека, прикоснувшегося к Богу, ведущего праведный образ жизни. Соответственно вторая подсистема состоит из единиц, которые так или иначе можно отнести к сфере дьявола, т. е. наименования темной силы, действий, которые совершает человек, соблазненный дьяволом, а также связанных с ними последствий.

Нами был сделан вывод о том, что в значимых контекстах в ПВЛ употребляются определенные слова, входящие в одну из приведенных выше систем и реализующие оценочность, причем сема оценки, как правило, обнаруживается в смысловой структуре языковой единицы. Сема положительной оценки реализуется в словах с определенным корнем: -благ- (*благо, благыи, блаженьныи, благовѣрьныи, благочестивыи, благородьныи, благословити, благословенье, благодать, благовѣщенье, благовоньныи, благоуханье, благоизволити, благопотребьныи, благочестье*), -добр- (*добро, добръ, доброта, добрыи, добродѣтель, добродѣтельныи*), -люб- (*любы, любити, възлюбити, възлюбленыи, братолюбство, братолюбье, братолюбивыи*), -прав- (*правыи, правда, правьдѣно, правьдѣныи, правьдивыи, правьдѣникъ*), -свѣт- (*свѣтъ, свѣтильникъ, свѣтло, свѣтлость, свѣтоносныи, свѣтозарьныи*) и т. д. Отрицательная оценка также закрепляется за единицами с определенными корнями: -зъл- (*зѣло, зѣлоба, зѣлобывыи,*

зълодѣяти, зѣлыи, злѣ), -грѣх- (*грѣхъ, грѣховьныи, грѣшьныи, грѣшьникъ, грѣшити, согрѣшити, согрѣшене*), -бѣс- (*бѣсъ, бѣсовьскыи, бѣсованье, бѣсослуженье, бѣшьныи*), -блуд- (*блудъ, блудити, блудьныи, блуженье*) и т. д. Особо следует выделить слова с начальными не- и без-, которые могут репрезентировать как положительную, так и отрицательную оценку, но последняя все же преобладает: *независтно, безгрѣшьныи, незѣлобивыи – безаконьныи, безаконьникъ, безаконье, безбожьныи, нечистыи, неправдѣьныи, неправда, нечѣстивыи, нечѣсть, невѣрьныи, нечисто, нечистота, нечистыи, ненавидѣти, ненавидѣно, ненавидимыи, ненависть*.

Таким образом, древнерусский автор задает полярные ценностные ориентиры для человека, выбирающего свой путь, и эти ориентиры определяются оппозициями Бог – Дьявол, благо (добро) – зло, вера – отсутствие веры (*невѣрьныи, поганыи*), знание истины – незнание истины, правда – неправда, любовь – ненависть, чистота – нечистота, красота – уродство, свет – тьма и т. д.

Исследование семантики и специфики функционирования оценочных единиц предполагает анализ условий контекстного употребления слова, выявление синонимических рядов, определение смысловых различий. Мы попытались определить, каким образом в зависимости от контекстуального окружения может репрезентироваться то или иное значение и какова роль категории оценки в смысловой структуре контекста. При этом оценочные единицы, как правило, являются смысловым центром того или иного микротекста, в связи с чем можно говорить о ценностном подходе к слову.

В результате проведенного контекстного анализа нами было установлено, что оценочные единицы вступают в синонимические отношения, например:

добръ – краснь ‘красивый, привлекательный внешне’: *и видѣвъ ю добру* *суццю зѣло лицемъ и смьслену* (ЛЛ, 17 об.) – *дасть Бохомить комуждо по семидесят женъ красныхъ* (ЛЛ, 27 л.);

добръ – правдѣнь – добродѣтельнь ‘праведный, добродетельный’: *В се же лѣт престависа Янь старецъ добръи живъ лѣт. ч . в старости маститѣ живъ по закону Бью не хужии бѣ первых*

праведник (ЛЛ, 94 об.) – *бѣ Нои единъ праведенъ в родѣ семь* (ЛЛ, 29 об.) – *Феодосьеви же живуцю в монастыри и правяцю добродѣтельное житье и чернечское правило* (ЛЛ, 54 л.);

вканьнъ – зълъ ‘безбожный, безнравственный’: Стополкъ же съ вканьнѣи и зълѣи оуби Стослава (ЛЛ, 47 об.) и др.

Антонимические пары часто встречаются в одном контексте, например, *зълъ ‘неправедный, нечестивый’ – правьдивъ ‘праведный, добродетельный’*: *аще бо князи правьдиви бывають в земли то многа втдаются согрѣшенья аще ли зли и лукави бывають то болше зло наводитъ Бъ на землю понеже то глава естъ земли* (ЛЛ, 48 л.).

Наиболее близкими семантически будут однокорневые слова типа *грѣшьнѣи – грѣховнѣи, грѣхъ – согрѣшенье, горе – горести, лѣсть – прѣльщенѣе* и т. д., а также противоположные по смыслу *правьда – неправьда, правьднѣи – неправьднѣи, грѣшьнѣи – безгрѣшьнѣи, зълѣбивѣи – незълѣбивѣи, вѣрнѣи – невѣрнѣи*. Несмотря на то, что в первой группе представлены, судя по всему, синонимы, а во второй – антонимы, семантические структуры тех и других объединяются наличием общего корня, за счет чего легко угадывается их внутренняя форма.

Что касается разнокорневых образований, то степень их семантической близости в ряде случаев будет зависеть от того, в каком словесном окружении употребляется то или иное слово, т. е. какая именно сема актуализирована в контексте. Приведем примеры таких единиц: *лѣпота – красота, лѣпнѣи – красьнѣи, зълѣи – вканьнѣи, зълѣи – неправьднѣи, добрыи – незълѣбивѣи, нечѣстивѣи – безбожьнѣи, правьднѣи – добродѣтельнѣи* и т. д.

Так, существительные *лѣпота* и *красота* обнаруживают различия в семантике при сопоставлении отдельных контекстов: *вда ю за Ярополка красоты ради лица ея* (ЛЛ, 23 об.) – *сица ти естъ бѣсовская сила и лѣпота и немощь* (ЛЛ, 60 об.). В данном случае *красота* ‘красивая внешность’, а *лѣпота*, скорее, просто ‘внешность, облик’, поэтому можно согласиться с Д. С. Лихачевым, который перевел это слово как *обличье*, руководствуясь именно контекстом. Этот случай интересен еще и тем, что бесовская внешность не мо-

жет оцениваться положительно, так же как чувственная красота (ср. *красоту и желанье свѣта сего втринувъ ...оумертвить плотскую похоть источникъ безаконья* (ЛЛ, 71 л.)). Таким образом, мы обнаруживаем следующее: красота (внешняя, плотская) связана с блудом, блуд – это грех, а грех от дьявола, и здесь *красота* и *лѣнота* семантически сближаются.

Особый интерес представляют тематические слова, т. е. такие, «которые в смысловом отношении дополняют, предполагают друг друга, которые, следовательно, сопряжены по принадлежности к определенной сфере действительности» [Верещагин, 1997, с. 258]. Ученый также отмечает, что тематически сопряженные слова сохраняют определенные характеристики синонимов (связь по смыслу и способность к взаимозамене) и значительно зависят от внеязыковой действительности, кроме того, тематическая близость может возникнуть только в контексте [Верещагин, 1997, с. 258]. По нашим наблюдениям, именно этот тип смысловых отношений преобладает в тексте ПВЛ, где нанизывание оценочных слов зачастую формирует высказывание, например: *бѣ же Ростиславъ мужь добль ратень върастомъ лѣпъ и красень лицемъ* (ЛЛ, 56 л.). В данном случае для общей положительной характеристики князя используются прилагательные *добль* ‘благородный, сильный’ и *ратень* ‘воинственный’, здесь же находим прилагательное *лѣпъ* ‘подобающий, надлежащий, должный; годный, полезный, необходимый’, речь идет о возрасте, подходящем для военной государственной деятельности, а также сочетание *красень лицемъ*, где *красень* ‘красивый, привлекательный внешне’.

Включение единиц категории оценки является способом создания «текста в тексте». Выделив из небольшого фрагмента только интересующие нас единицы (частично в синтагмах), мы без особого труда сможем такой «подтекст» обнаружить. Возьмем для примера отрывок из Лаврентьевского списка (ЛЛ, 74–74 об.): *лукавиши сневе Измаилеви, множество грѣховъ, гнѣвъ простреса, земля мучена быс, горкую смръть, оубиваемых, гладомъ оумаржеми, казнь, раны, печали, страшны муки, страхъ и кольбанье, бѣда оупространиса, беза-*

конънѣшию вся земля – праведно и достойно есть, тако вѣру имем, праведенъ еси Госи, прави суди твои. Как видим, речь идет о справедливом наказании, которое посылает Бог грешникам. Все приведенные единицы связаны тематически, или, иначе говоря, имеют тематическую близость, так как дополняют друг друга. Соединение таких слов в контексте позволяет продуцировать особый смысл, который вкладывает автор в повествование.

Несмотря на сложный, компилятивный характер летописных текстов, в них наблюдается структурно-смысловая организация частей, подчиненная замыслу автора-христианина. В первую очередь это проявляется на лексическом уровне, в частности за счет оценочных языковых единиц, несущих особую функциональную нагрузку в тексте. Смысловые отношения между оценочными единицами могут быть определены, как синонимия, антонимия и тематическая близость. Установить тип отношений представляется возможным, анализируя внутреннюю форму слов (этимологию) и специфику их функционирования в контексте.

2.3. Оценочная лексика как средство концептуализации действительности в «Повести временных лет»

Ранее мы уже говорили о том, что анализ лексики в аспекте категории оценки предполагает выделение в том или ином микро-тексте языковых единиц, выражающих (эксплицитно или имплицитно) тот или иной тип оценки (теистическую, обыденную этическую, субъективную) [Ковалев, 1997, с. 15]. Основной тип оценки в русских летописях – теистический, что, конечно, неслучайно: «Из возможных вариантов концептуализации древнерусскими авторами наиболее активно используются византийские традиции толкований канонических текстов, состоящие в выделении полярных сфер – идеализируемого божественного внебытия и скептически оцениваемого человеческого мира» [Ковалев, 1997, с. 20]. В «Повести временных лет» представлен определенный этап формирования русской культурной традиции, связанной с византийскими традициями толкования канонических текстов. В тексте репрезентировано представление

об основных ключевых символах христианства. Мир языческий и мир христианский противопоставляются, оппозиция Бог – Дьявол, т. е. благо (добро) – зло, является смысловым центром ПВЛ (см. п. 2.2).

Так, в ПВЛ репрезентировано представление древнего русича о красоте. В исследуемом памятнике *красьныйи* ‘красивый, прекрасный’ употребляется в контекстах, где речь идет о женщине, например: *дать Бохомить комуждо по семидесат жень красныхъ и сбереть едину красну и всѣт красоту възложить на едину та будетъ ему жена* (ЛЛ, 27 л.). В данном случае женская красота рассматривается как источник греха (в других списках здесь же находим *а по смрти же реч со женами похоть творити блудную*), а князь Владимир, которому эта часть рассказа пришлась по душе, явно осуждается автором: *Володимеръ же слоушаше ихъ бѣ бо самъ любл жены и блуженье многое послушаше сладко* (ЛЛ, 27 об.). Таким образом, понятие «красота» неразрывно связано с понятиями «похоть» и «блуд» (ср. *и бѣ же Володимеръ побѣженъ похотью женскою* (ЛЛ, 25 об.)), т. е. с тем, что у человека от дьявола: «Удивительно, но демонизация женского начала как чувственного, страстного у славян проявилось с момента внедрения христианства. Главным преступлением женщины, которое ставится ей в вину, служит испорченность ее природы, особая роль в грехопадении. Женщина ассоциируется с соблазнительницей. Ей приписывают греховную чувственность, сексуальность. Женщина грешит перед Богом и мужчиной, “пав” жертвой дьявола» [Гулюк, 2006, с. 28].

Подобное отношение к красоте встречаем в отрывке, где рассказывается о Феодосии Печерском: *Бу послужилъ еси в тишинѣ въ мнишьскомъ житиѣ всако собѣ принесенье бжственное принеслъ еси пощеньемъ превозвышья плотьскы стрстии и сласти възненавидѣвъ красоту и желанье свѣта сего втринувъ <...> оумертвивъ плотьскую похоть источникъ безаконья* (ЛЛ, 71 л.). Здесь негативно оценивается именно чувственная красота, т. е. красота плоти, а не души: «В то же время на Руси существовало и резко негативное отношение к чувственно воспринимаемой красоте. Оно восходило к раннехристианской и византийской монастырской эстетике и под-

держивалось многими русскими религиозными мыслителями» [Бычков, 1988, с. 21]. С другой стороны, в ряде примеров мы встречаем совсем другое отношение к привлекательности женщины: *Оу Ярополка же жена Грекини бѣ и баше была черницею бѣ бо привельиць его Стославъ и вда ю за Ярополка красоты ради лица ея* (ЛЛ, 23 об.). В этом случае именно внешняя красота (даже красота лица), и только она, явилась причиной выбора женщины в качестве жены. Надо сказать, что такой подход не характерен для средневекового общества, тем более для княжеской среды, где браки заключались по политическим соображениям.

Когда речь идет о мужчинах, красота всегда оценивается положительно, но при этом, как правило, указывается на другие качества человека: *бѣ бо Глѣбъ млстивъ оубогым и страннолюбив тцание имѣе к црквамъ тепль на вѣру и кроток взоромъ красенъ его же тѣло положено быс черниговъ за Спасомъ* (ЛЛ, 67 л.), *бѣ же Изславъ мужь взоромъ красенъ и тѣломъ великъ незлобивъ правом криваго ненавидѣ любѣ правду не бѣ бо в немъ лсти но простъ мужь оумом* (ЛЛ, 68 л.). Здесь говорится о взгляде человека, но важна общая положительная характеристика, когда красота духовная и внешняя неразделимы: *юже сдѣла Володимеръ бѣжа Варягъ то пришелъ изъ Грекъ и держаше вѣру хсеяньску и бѣ оу него снѣ красенъ лицемъ и дшею* (ЛЛ, 26 об.), *мти же Моисѣва оубоявиши сего губленья вземши младенецъ вложи и в карабѣицю <...> и нареч имѣ ему Моисѣи и вскорми быс отроча красно* (ЛЛ, 31 л.).

Есть только один женский образ, в котором сочетается внешняя привлекательность и разум: *и приде к нему Вльга и видѣвъ ю добру суицю зѣло лицемъ и смьслену оудививъса црь разуму ея бесѣдова к неи и рекъ еи* (ЛЛ, 17 об.). В данном фрагменте прилагательное *добрыи* ‘красивый’ употребляется по отношению к княгине Ольге, первой праведнице Руси, принявшей христианскую веру.

Достаточно развернуто в ПВЛ репрезентировано также представление о грехе. Грех трактуется как ‘нарушение закона, правил, религиозных предписаний’: *Стославъ сѣде Кыевъ прогнавъ брата своего преступивъ заповѣдь втню паче же Бжью велии бо естѣ*

грѣхъ преступающе заповѣдь вѣща своего (ЛЛ, 61 об.). Исторические события очень часто комментируются, и именно в этих рассуждениях объясняется, что такое грех с точки зрения христианской морали. При этом летописец часто опирается на другие оценочные единицы, такие как *зависть, клевета, зло, злоба, беззаконие, неправда, вина* и др.

В ПВЛ, как правило, оценивается образ врага Руси, например: *Приде второе Бонакъ безбожнии шелудивыи втаи хъщникъ <...> безбожнѣ же снове Измашлеве* (ЛЛ, 77 л.). Разграбление монастыря (*износѣху аще что вбрѣтаху в кельи... въжгоша домъ стѣя Владчѣ наша Бѣѣ <...> зажгоша двери*), надругательство над христианскими святынями (*иконы зажигаху*), безусловно, грех, однако Бог не наказывает неверных: *Бѣ же терпѣше еще бо не скончались баху грѣси ихъ и безаконья ихъ* (ЛЛ, 77 об.). И снова мы видим существительное *беззаконье* в одном ряду с существительным *грѣхъ*, причем они выступают как синонимы. Итак, наказание еще надо заслужить, так как кара Божья – неперемное условие вхождения в царство небесное: *яко Бѣ кажеть рабы своя <...> хсьномъ бо многыми скорбьми и напастьми внити в црство нбсное а симъ поганым и ругателем на семь свѣтъ приимши веселье и просторнство а на вномъ свѣтъ приимуть мку с дьяволом оуготовании вгню вѣчному* (ЛЛ, 77 об.).

Иногда существительное *грѣхъ* может употребляться несколько раз в одном небольшом контексте наряду с другими оценочными единицами: *Се же быс за грѣхы наша яко умножишасѣ грѣси наши неправды се же наведе на ны Бѣ вела нам имѣти покаянье и въстанутисѣ вт грѣха и вт зависти и вт прочихъ злыхъ дѣлъ неприязнинь* (ЛЛ, 72 л.). Перед нами фрагмент погодных записей о нападениях половцев и гибели людей, а представленный отрывок завершает рассказ о событиях, являясь своего рода выводом, итогом, в котором указываются причины произошедших несчастий: за грехи, за то, что их стало больше, больше неправды, во имя того, чтобы люди покались и воздержались от греха, зависти и от прочих злых дел. В этом случае *грех, неправда и зависть* в одном ряду не просто как *злы дѣла*, а как *злы дѣла неприязнины*, последнее же при-

лагательное образовано от существительного *неприянь* ‘зло, вражда’, ‘злой дух, дьявол’ [СДРЯ]. Употребление данного прилагательного в этом контексте принципиально: несмотря на то, что все связанное со злом – изначально сфера дьявола, автор не считает лишним еще раз акцентировать на этом внимание, так как «грех как деяние, дело, действие – всего лишь ответ человека на вызов и соблазны дьявола, на его наущение на грех...» [Колесов, 2001, с. 36]. Например, говоря о распрях между братьями Ярославичами, автор указывает на дьявола как на первопричину происходящего: *Въздвигше дьяволъ котору въ братьи сеи Ярославичихъ бывши распри межи ими <...> Стославъ съде Кыевъ прогнавъ брата своего преступивъ заповѣдъ мтню паче же Бжью велии бо **есть грѣхъ преступающе заповѣдъ мца своего*** (ЛЛ, 61 об.).

Не менее значимым оказывается также представление о любви, актуализированное в контекстах языковыми единицами с корнем -люб- (в первую очередь *любы* и *любити*). Любовь многогранна, она может быть разрушающей и созидательной силой. В первом случае это любовь-страсть, любовь-блуд, т. е. любовь в самых низших своих проявлениях: *бѣ бо самъ **люба** жены и блуженье многое послушаше сладко* (ЛЛ, 27 об.). Этот фрагмент из рассказа о князе Владимире как нельзя лучше иллюстрирует тот факт, что представление о любви язычника, по мнению летописца, это представление человека, который думает только о потребностях тела, но не думает о потребностях души. Любовь как духовное начало свойственно только христианину, даже если это любовь к людям: *бѣ бо Володимерь **люба** дружину* (ЛЛ, 43 об.).

Достаточно часто встречается в тексте ПВЛ любовь-мир: *и оутвердити **любовь** межю Греки и Русью* (ЛЛ, 11 об.), ***любовь имѣють** Гръци съ Русью* (ЛЛ, 13 об.) и др. Интересны примеры, в которых любовь и мир употребляются в одном контексте: *хочеть **миръ имѣти** со княземъ Рускимъ и **любѣве*** (ЛЛ, 14 л.), *рѣка сице хочю **имѣти миръ** с тобо[ю] **твердѣ и любовь*** (ЛЛ, 22), и *бѣ **миръ** межю ими и **любы** живаше же Володимерь в **страсъ** Бжьи* (ЛЛ, 43 об.). Следует также отметить, что именно в тех контекстах, где

речь идет о мире между Грецией и Русью, любовь может быть правой (*да аще будет добръ Игорь великии князь да хранить си любовь правую* (ЛЛ, 14 л.)), а также совершенной (*хочю имѣти любовь со црмь Гречьскимъ свершеную* (ЛЛ, 22 л.), *хочю имѣти миръ и свершену любовь со всакомь* (ЛЛ, 22 об.)). Во всех этих фрагментах представлена обыденная этическая оценка, т. е. общее мнение о правде/неправде, добре/зле, принадлежащее миру, человечеству, здесь мы имеем дело с устойчивыми сочетаниями, которые эту оценку эксплицируют: *любовь имѣти, оутвердити любовь, хотѣти имѣти миръ и любовь (свершену), хотѣти имѣти любовь свершеную, хранити любовь правую* (см. об этом в Гл. I).

Таким образом, взгляд на мир может меняться в зависимости от субъекта, который этот мир оценивает: в христианском вероучении любовь – это Бог, т. е. высшее начало, совершенство, а для обыденного сознания, обычного земного человека, представителя того или иного этноса, любовь – склонность, влечение. Это означает, что земной путь должен быть озарен божественной идеей, в течение своей жизни человек должен стремиться к совершенству, любви, т. е. к Богу, без этого стремления человеческая жизнь – это путь греха, путь к Дьяволу. Именно этой идее подчинена смысловая организация изучаемого нами памятника древнерусской литературы – «Повести временных лет».

Можно сказать, что русская история запечатлена в тексте ПВЛ не просто летописцем, а философом, который выстраивает само повествование об исторических событиях так, чтобы представить не столько хронологию тех или иных действий людей (даже если это очень известные личности), сколько конфликт мистических субъектов, т. е. добра и зла, любви и ненависти, добродетели и греха. Теистическая оценка явно доминирует в исследуемом тексте, однако она включается очень органично, накладываясь на другие типы оценок, что наиболее наглядно можно проиллюстрировать следующим примером: *бѣ же Изславъ мужъ взоромъ красенъ и тѣломъ великъ незлобивъ правомъ криваго ненавидѣ любѣ правду не бѣ бо в немъ лсти но простъ мужъ оумом не вздая зла за зло <...> но утѣши рек*

елмаже ты брате мои показа ко мнѣ любовь <...> но на ся перея печаль братню показая любовь велику (ЛЛ, 68 л.). Речь идет о братской (великой) любви, которую показал князь, приняв на себя горе брата (*перея печаль братню показая любовь велику*). Здесь репрезентирована обыденная этическая оценка (*взоромъ красень, тѣломъ великъ, незлобивъ правомъ, простъ мужь оумом*), на которую накладывается теистическая оценка, оценка, исходящая от Бога (*криваго ненавидѣ, любя правду, не бѣ бо в немъ лсти, не вздая зла за зло*). Этот прием позволяет создать цельный образ русского князя, привлекательного внешне и ведущего праведный образ жизни.

Анализ функционирования оценочных слов в контексте позволяет приблизиться к пониманию авторской системы ценностей в жанре летописи: «Ценностный подход к миру, опосредованный личностным отношением к Христу и фиксируемый субъектом в смыслообразующих текстовых компонентах оценки, является фактором стабилизации и трансформации жанровых образований» [Ковалев, 1997, с. 25].

В погодных записях мы обнаруживаем не только рассказ о конкретных событиях, но и многочисленные авторские отступления, содержащие оценку либо событий, либо персонажей. В результате складывается определенная ценностная система автора, который, будучи христианином, является также и носителем обыденного сознания: «Освоение древнерусскими книжниками византийской литературной традиции происходит в процессе преобразования картины мира русича, которую составляют, наряду с другими компонентами, три ценностные системы: христианская (книжная), мифопоэтическая и обыденная (“практический разум”）」 [Ковалев, 1997, с. 158]. Таким образом, эти три ценностные системы, являющиеся составляющими картины мира древнерусского человека, так или иначе отражаются в тексте. Для автора ПВЛ доминирующей является система христианской оценки, что наглядно представлено в исследуемом памятнике.

Мы проанализировали отрывок о битве под Черниговом (год 6586 (1078)), который представляет собой часть погодных записей, повествующих о сложных взаимоотношениях русских князей, в част-

ности братьев Всеволода и Изяслава и их племянников Олега и Бориса (ЛЛ, 67–68 об.). Характеризуя поступок Олега и Бориса, автор пишет: *мнѣше ѡдолѣше а землѣ Русьскѣи много зло створише проливше кровь хсьяньску еяже крови взищеть Бѣ ѡт руку ею и ѡтветъ дати има за погубленье дѣша хсьяньскы*. Обращает на себя внимание тот факт, что летописец намеренно дважды употребляет прилагательное *христианский* в сочетании с существительными *кровь* и *душа*. Пролить кровь само по себе означает сотворить зло, однако для автора значимо указать на то, что эта кровь христиан, а за ее пролитие Бог взыщет также кровью, т. е. Бог не только оценивает действия человека, но и наказывает его.

Борис, обуреваемый гордыней, погибает почти сразу в этой битве, летописец комментирует этот факт следующим образом: *не вѣды яко Бѣ гордымъ противитса смѣреннымъ даеть блгдть да не хвалитса сильныи силою своею*. Данное высказывание построено в виде антитезы: *гърдыи* ‘непокорный, дерзкий’; ‘высокомерный, надменный, кичливый’; ‘жестокий, губительный, суровый, безжалостный’; ‘славный, выдающийся’ [СДРЯ], а *смѣренныи* в рассматриваемом контексте ‘покорный, смиренный, не гордый, простой’ [МСДРЯ]. В данном случае с помощью противопоставления *гордые* – *смирённые* репрезентируется модель поведения, угодная Богу, в то же время следует отметить, что если в отношении первых Бог противится, то в отношении вторых все определено – они обретут благодать.

Князь Изяслав описывается так: *бѣ же Изаславъ мужъ взоромъ красенъ и тѣломъ великъ незлобивъ нравомъ криваго ненавидѣ любѣ правду не бѣ бо в немъ лсти но простъ мужъ оумом не вздая зла за зло*. Любопытным представляется сочетание *взоромъ красенъ*, которое характеризует внешний облик человека. Согласно данным словарей, в древнерусском языке зафиксированы следующие значения прилагательного *красень*: ‘красивый, прекрасный’; ‘хороший, прекрасный’; ‘приятный, милый’; ‘достойный, добродетельный, праведный’; ‘радостный, сладостный’ [СДРЯ]. Причем здесь же отмечен наш пример, в котором значение определяется как ‘красивый, прекрасный’. Однако если учитывать не только прилагательное, а со-

четание в целом в пределах контекста, то речь идет не столько о красивом взгляде (глазах), сколько о том нравственном качестве, которое отражает этот взгляд, поэтому здесь сложно вычленить именно такое значение, так как в семантической структуре слова *краснь* есть и компонент ‘добродетельный, праведный’. Таким образом, перед нами, судя по всему, сложное по семантике имя прилагательное, и эта сложность обусловлена древнерусским именовым синкретизмом (см. работы В.В. Колесова, В.А. Баранова и др.).

Описывая качества князя, автор употребляет сочетание *незлобивъ нравом*, т. е. говорит о кроткости, доброте как о свойствах характера, далее мы снова наблюдаем противопоставление *криваго ненавиждъ любя правду*, причем противопоставленными оказываются сферы смыслов «Бог, Слово, Истина» и «бытие, человек», причем первая является мистическим субъектом оценки, а вторая – объектом оценки [Ковалев, 1997, с. 102]. В этом случае к субъекту оценки относится вторая часть высказывания, а к объекту – первая, в то же время противопоставленными оказываются все оценочные единицы: *кривъ – правда, ненавиждъ – любя*. В итоге первая часть (*криваго ненавижда*) дополняется второй (*любя правду*), т. е. ненавидел ложь, поэтому любил правду.

Слово кривый ‘несправедливый, лживый’ в словаре приводится как прилагательное в среднем роде в роли существительного [СДРЯ]. По нашему мнению, перед нами не прилагательное, а субстантиват. В том же словаре приведено и другое значение ‘неправильный, неразумный’, которое, на наш взгляд, нельзя исключать из семантической структуры, а следует, скорее, объединить здесь представленные темные компоненты. И снова перед нами проявление древней синкретичности имени, что обусловило наличие субстантивата в контексте, где во второй части противопоставления существительное *правда*.

Рассмотрим следующий отрывок: *не бѣ бо в немъ лсти но простъ мужь оумом*. Для характеристики человека в составе отрицательного оборота автор использует существительное *лсть* ‘обман, хитрость, ложь’; ‘заблуждение, ложное учение, ересь’; ‘вред, зло’

[СДРЯ], а далее мы видим сочетание *простъ оумом*. Для прилагательного *простъ* в словаре И.И. Срезневского приведено большое количество значений, например, ‘чистый’; ‘простодушный’; ‘скромный’; ‘простой’; ‘понятный, обыкновенный’ [МСДРЯ]. В то же время, если учитывать сочетание с существительным *ум* ‘ум, душа, мысль, понимание’ [МСДРЯ], а также построение фразы, то *простъ умом* может означать здесь чистый душой, а потому не обманывающий, не хитрый, не несущий зло, вред.

Последняя характеристика в приведенном описании – *не вздая зла за зло* – является самой значимой, так как далее раскрывается смысл этой фразы, которая рефреном проходит по всему контексту в том или ином виде: *и не взда противу тому зла <...> не вдасть зла за зло <...> се азъ не поману злобы первыя <...> не реч бо ему колико зла створиста мнѣ*. Несмотря на то зло, которое причинили ему братья, Изяслав отдал свою жизнь ради одного из них: *но на ся перея печаль братню показая любовь велику свершая апсла глца оутѣшаите печальныя*. Существительное *печаль* ‘скорбь, печаль, горе’; ‘мучение, страдание’; ‘забота, тревога, беспокойство’ [СДРЯ] выступает в сочетании с глаголом *перея* и прилагательным *братня*. И в данном случае не представляется возможным вычленить какое-то конкретное значение, так как князь принял и горе, и страдание, и беспокойство брата. Здесь отмечаем противопоставление *печаль – любовь велика*. Этот небольшой отрывок завершается включением слов апостола, которые подводят своеобразный итог в этом фрагменте, что является одним из приемов подтверждения слов автора ПВЛ.

Поступок князя Изяслава, по мнению летописца, искупает грехи: *по истинѣ аще что створилъ есть в свѣтъ семь етеро согрѣшенье втдасться ему* (ЛЛ, 68 л.). Заметим, что употребляется существительное *согрѣшенье* и местоимение *етерь* ‘некий, некоторый’, значит, допускается мысль лишь о каком-то незначительном деянии, не угодном Богу. Завершая свое рассуждение на данную тему, Нестор вновь ссылается на авторитетные источники: *Гсь реч да кто положить дшу свою за другы своя Соломон же реч братья в бѣдах пособива бывають*. И снова мы видим существительное

душа, но уже в сочетании с глаголом *положити*, т. е. *положить душу* значит ‘отдать жизнь’. В данном контексте *бѣда* – это не только бедствие, несчастье, но также и нужда, необходимость, и даже опасность [СДРЯ].

Далее в тексте ПВЛ подробно развивается мысль о любви вообще и о братской любви в частности: *любы бо есть выше всего яко Ивван глеть Бѣ любы есть пребываяи в любви в Бѣзъ пребывает и Бѣ в немъ пребывает*. Как видим, прослеживается четкая взаимозависимость таких понятий, как «любовь» и «Бог», что, конечно, не случайно: «Ценностные ориентации древнерусских авторов складываются под влиянием Нового Завета и святоотеческой литературы, утверждающих идею тождества Бога и Любви как высшего Блага» [Ковалев, 1997, с. 72]. Согласно данным СДРЯ, *любовь* – ‘привязанность, пристрастие’; ‘приверженность к чему-либо’; ‘страсть, вожеление’; ‘мир, согласие’ [СДРЯ], однако в рассматриваемом контексте *любовь* = Бог = высшее благо (этимологически *любовь* связывают с лит. *liaupsinti* – ирон. ‘восхвалять’, ‘прославлять’ [ИЭССРЯ]).

В следующем контексте встречаются такие оценочные единицы, как *любовь, боязнь, мучение*: *боязни нѣтъ в любви но свершена любы вонъ измещеть боязнь яко боязнь мученье имать бояи же сѧ нес свершень в любви*. Если *боязнь* = страх, а *мучение* – ‘страдание, мука, мучение’ [СДРЯ], то *любовь* бесстрашна, она отвергает страх, который является страданием, мучением. Следует отметить сочетание *свершена любы*, которое в переводе Д.С. Лихачева передано как настоящая любовь. Если с христианской точки зрения *любовь* = Бог, то как она вообще может быть несовершенной, ненастоящей? Скорее, речь идет о любви совершённой, т. е. существующей в действительности.

В следующем фрагменте представлено противопоставление *любить* – *ненавидеть*: *аще кто рчетъ люблю Ба а брата своего ненавижу ложь есть не любли бо брата своего егоже видить Ба егоже не видить како можетъ любити*. Это значит, что любовь и ненависть не могут сосуществовать в человеке, либо он любит, и тогда это любовь к Богу, брату и т. д., либо ненавидит, и тогда он во-

обще не может любить ни Бога, ни кого-либо другого. Любить того, кого можешь видеть, значительно легче, чем того, кого не можешь видеть (Бога), стало быть, необходимо сначала полюбить того, кто рядом, а уже потом полюбить Бога. Таким образом, в данном отрывке любить – это в первую очередь испытывать привязанность к ближнему [МСДРЯ], что подтверждается в следующем отрывке: *сию заповѣдь имамъ въ него да любли ба любить брата своего.*

Рассмотрим контекст, в котором отмечены такие оценочные единицы, как *любовь, ненависть и грех, грешный*: *в любовь бо все свершается любви ради и грѣси расыпаются любви бо ради сииде Гсѣ на землю и распуться за ны грѣшныя вземъ грѣхы наша пригвозди на крѣсть да въ намъ крѣсть свои на прогнание ненависти бѣсовское любви ради мчници проляша крови своя любви же ради си князь проля кровь свою за брата своего свершая заповѣдь Гсню.* В одном небольшом фрагменте мы видим пять употреблений оценочной единицы *любовь*, причем четыре раза в сочетании с предлогом *ради*, *любовь* сопоставляется с ненавистью и грехом как атрибутами беса, дьявола: здесь *ненависть бѣсовская*, т. е. чувство, которое заставляет человека испытывать дьявол. Человек несовершенен, он может ненавидеть и грешить, т. е. нести зло: «Наряду с простой констатацией факта несовершенства человека, в литературных текстах эпохи отмечается поляризация оценочных компонентов “Бог, Благо” – “человек, зло”» [Ковалев, 1997, с. 73].

Мы проанализировали лишь небольшой по объему отрывок погодных записей, но обнаружили определенные закономерности в построении фраз, содержащих оценочные компоненты: в большинстве случаев мы наблюдаем противопоставление, причем противопоставленными оказываются существительные (*любовь – печаль, любовь – мучение, боязнь, любовь – ненависть, любовь – грех*), субстантиваты (*гордый – смиренный*), глаголы (*любить – ненавидеть*). Таким образом, на одном полюсе оценки оказывается *любовь*, а на другом – все, что мешает этому чувству, следовательно, авторская оценка осуществляется через призму любви как некоего идеала, что, конечно, обусловлено тождеством любви и Бога.

В смысловой структуре ПВЛ можно выделить легенды, в которых наиболее четко проявляется творческий потенциал автора, подчиняющего организацию текста основной идее. Одной из таких легенд является *О оубьеньи Борисовъ* (ЛЛ, 45–47 об.) в ПВЛ по Лаврентьевскому списку. Рассказ об убийстве князя Бориса начинается с оценочного сравнения убийц с дикими зверями: *и се нападоша акы звѣрье дивии вколо шатра и насунуша и копыи и прободоша Бориса и слугу его (дивии ‘дикий’ [СДРЯ])*. В целом можно сказать, что убийцы отличались жестокостью (убили не только князя, но и многих его людей, причем самому любимому слуге Бориса отрубили голову), а потому летописец называет их *оканьными*, так же как и Святополка: *Бориса же оубивше вканынии оувертъвше в шатерь възложивше на кола повезоша и и еще дышюцю ему оувѣдъвше же се вканынии Стополкъ*.

Данная характеристика оказывается самой важной, неслучайно она повторяется на всем протяжении повествования. Среди всех значений этого слова можно выделить доминантные, представленные во всех исторических словарях: ‘грешный’ (‘безбожный’) и ‘несчастный, жалкий’ [МСДРЯ, СРЯ XI–XVII вв., ИЭССРЯ]. К этим значениям в словаре И.И. Срезневского добавляется ‘проклятый’, а в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» – ‘плачевный, горестный, заслуживающий сожаления, ужасный; безнравственный, низкий; отчаянный, пропащий’. Значение ‘несчастный, жалкий’, судя по всему, выводится из этимологии, так как данное слово является страдательным причастием прошедшего времени от окаяти ‘охуждать’, ‘оплакивать’ [ИЭССРЯ], сравните также *каяти* ‘порицать’, *каятися* ‘каяться’, *каение* ‘покаяние’, причем значение этого корня довольно расплывчатое – ‘почитать’, ‘ценить’, ‘бояться’, ‘наказывать’, ‘мстить’, ‘каяться’ и др. [ИЭССРЯ]. В нашем тексте *оканьными* имеет сложную семантическую структуру, в которую, однако, не включаются семы ‘несчастный’, ‘жалкий’, так как чувствовать жалость по отношению к рассматриваемым персонажам, с точки зрения автора, невозможно.

Следует учитывать тот факт, что для древних славян смерть была лишь трансформацией: «Зато и естественная биологическая

смерть не воспринималась славянами-язычниками как окончательная гибель, полное исчезновение человека. Смерть для них была переходом еще в одно новое качество, когда разрушалось тело, но бессмертная душа оставалась неприкосновенной» [Гараева, 2005, с. 143]. Такое восприятие смерти характерно и для христианской религии, в этом смысле языческие представления славян оказываются базой для формирования нового религиозного сознания, в котором строго определен удел мучеников и грешников после смерти. Смерть Бориса не является трагедией, так как он получает за свою праведность заслуженную награду, воссоединившись с другими праведниками: *и тако скончася блжнй Борисъ вбнець приемъ отъ Хса Ба съ праведными причеться съ прркы и апслы с ликы мчньскыми водваряяся Авраму на лонѣ почивая видя неиздреченную радость въспѣвая съ англы и веселася в лику стыхъ.*

Таким образом, мировоззренческая основа русских летописей в целом и ПВЛ в частности – христианская культура, жизнь русских людей в течение нескольких столетий обусловлена религиозно-нравственными прецедентами. В задачу летописца входило не просто зафиксировать событие, но и дать ему моральную оценку, выстроить смысловые и символические параллели, которые позволят соотнести описываемое им с уже описанным в канонических текстах.

2.4. Оценочные суждения в «Повести временных лет»: функциональный аспект

Рассматривая структуру «Повести временных лет», ученые уже давно пришли к выводу, что этот летописный свод, известный по нескольким редакциям и спискам, имеет в своей основе несколько источников, к которым обычно относят историю Византии и Болгарии, «Хронику Георгия Амартола», «Хронику Иоанна Малалы» и т. д. Так, например, ПВЛ начинается рассказом о разделении земли Ноем между тремя сыновьями, отсылающим нас к тексту Ветхого Завета, однако, судя по данным исследователей, в этом рассказе обнаруживаются и параллели с «Хроникой Георгия Амартола» (далее ХГА) [Истрин, 1920]. Выяснение, что именно является источником для этого

фрагмента в ПВЛ, – задача текстологическая, нам же важно, что мы можем выделить в тексте летописи большой фрагмент (возможно, созданный на базе разных источников), который содержит отсылку к другому тексту (со слов *По потопѣ... до нарци еже суть Словѣне*, ЛЛ, 1 об. – 2 об.).

Фрагменты, отсылающие нас к греческим хроникам, содержат рассказы об истории славян, в которых может быть представлено простое перечисление фактов, в частности о расселении племен (в том числе славянских): *И по сихъ брати держати. почаша родъ ихъ княженъ в Полахъ. в Деревлахъ свое. а Дреговичи свое. а Словѣни свое в Новѣгородѣ а другое на Полотѣ иже Полочане ит нихъ же. Кривичи же сѣдати на верхъ Волги. а на верхъ Двины и на верхъ Днѣпра* (ЛЛ, 4 л.). Именно излишние географические подробности наталкивают на мысль о том, что фрагмент является заимствованием из какого-то текста-источника, в котором первостепенное значение имела фиксация исторических событий и явлений, территориальных границ, путей: *Поланомъ же живишмъ всобѣ по горамъ симъ. бѣ путь изъ Варягъ въ Греки. и изъ Грекъ по Днѣпру. и верхъ Днѣпра волокъ до Ловоти. по Ловоти внити в-Ълмеръ взеро великое. из негоже взера потечеть Волховъ и вѣтчеть в озеро великое Ново. того взера ввидеть оустье в море Варяжское* (ЛЛ, 3 л.). Однако в ПВЛ мы выделили такие фрагменты, в которых кроме сохранения и передачи информации явно обнаруживается другая функция.

Рассмотрим подробнее фрагмент, в котором рассказывается о нравах и обычаях славянских племен (начинается со слов *Поланомъ же жиоуцемъ всобѣ якоже рекохомъ* и заканчивается словами *елико во Хса крстихомса и во Хса вблекохомса*, ЛЛ, 4 об.-6 л.), неоднократно становившийся объектом пристального внимания ученых. Именно в этом фрагменте, помещенном в недатированной части ПВЛ (эту часть обычно называют Введением), перечисляются обычаи Полян, оцениваемые автором-христианином положительно, в том числе: почтение к родственникам (*и стѣдѣнье къ снохамъ своимъ. и къ сестрамъ. къ мтрмъ и к родителемъ своимъ. къ свекровемъ и къ деверемъ. велико стѣдѣнье имѣху*) и брачный обычай (*брачныи*

вбычаи имаху. не хожеше зать по невѣсту. но приводаху вечерь. А завьтра приношаху по неи. что вдадуче). Следует заметить, что в контексте *Полане бо своихъ ищъ вбычаи имуть кротокъ и тихъ* обычай – это, скорее, свойство, характерная черта, которая определяет поведение.

Сразу после описываются обычаи других славянских племен, оцениваемые негативно, в том числе: убийство (*оубиваху другъ друга*), потребление «нечистой» пищи, т. е. запрещенной религиозным обычаем (*ядаху вса нечисто*), отсутствие брачных отношений (*и брака оу нихъ не бываше но оумыкиваху оу воды двѣа*), сквернословие при отцах и снохах, т. е. отсутствие уважения, почитания родственников (*срамословье в нихъ предъ втѣци и предъ снохами*), бесовские (т. е. языческие) игрища и пляски (*схожахуса на игрища на пласанье и на вса бѣсовская игрища*), многоженство (*имаху же по двѣ и по три жены*), похоронный обряд, который описывается достаточно подробно (*аще кто оумраше твораху трызно надъ нимъ. и по семь твораху кладу велику и възложасхуть и на кладу мртвца. сожъжасху. и посемь собравше кости. вложасху в судину малу. и поставасху на столпѣ на путех*). Негативная оценка выражена эксплицитно за счет языковых средств, а именно за счет ярких сравнений (*живаху звѣриньскимъ вбразомъ жиоуще скотьски, живаху в лѣсѣ якоже всакии звѣрь*) и единиц семантического поля «зло» (*бѣсовская игрища, срамословье, нечисто*). Перечисление языческих обычаев завершает фраза, содержащая дидактику (нравовучение): *си же твораху вбычая Кривичи. прочии погании. не вѣдуще закона Бжя. но твораще сами собѣ законъ*. В этой фразе утверждается, что язычники (погании) не знают о законе божьем, а потому сами творят закон=обычай. В этой части фрагмента описание позитивно оцениваемых обычаев (их всего два) занимает значительно меньше места, чем описание негативно оцениваемых обычаев, которое представляет собой целый список поступков и деяний, противоречащих христианской системе оценки, что, конечно, неслучайно.

Далее в тексте обнаруживаем прямую отсылку к ХГА: *Глтѣ Гевргии в лѣтописаньи. ибо комуждо языку. вѣвмъ исписанъ законъ есть. другимъ же обычаи. зане безаконьникомъ втечьствие*

мнитса. Согласно данным исторических словарей, *закон* – от Бога либо от власти, т. е. то, что записано, писанный закон, *обычай*, напротив, – привычка, поведение, уклад жизни и т. д., т. е. неписанный закон (передающийся из поколения в поколение устно) [СДРЯ]. В цитате из ХГА развивается мысль том, что беззаконники, т. е. люди, не являющиеся христианами, нарушающие догматы христианства, законы церковной или светской власти (а значит, грешники) [СДРЯ], за закон принимают обычай своих предков (*законъ имуть въ своихъ обычаи, законъ итець творать*).

Большую часть цитаты составляет рассказ о тех народах, обычаи которых явно осуждает греческий автор, и здесь список деяний практически тот же, что приводился по отношению к славянским племенам, прежде всего это убийство и блуд, причем эти обычаи описываются ярко и образно, в частности за счет использования языковых средств: сравнений (*паче же ядаты яко пси, аки скоть бесловеснии*), единиц, эксплицирующих отрицательную оценку (*сквернотвораще, студеное деяние, любы творать, похотьствують, незаконная* и т. д.).

Среди язычников есть и такие народы, обычаи которых автором хроники оцениваются положительно, и эта оценка выражается за счет отрицания обычаев других язычников: *не любодѣяти и прелюбодѣяти. ни красти ни вклеветати ли оубити. ли злодѣяти весьма*. Далее уточняется, что не только заветы отцов определяют жизненный уклад некоторых народов, но и благочестие, т. е. истинное почитание Бога, благоговение к Богу набожность, богобоязненность: *еже въ прадѣдъ показаньсьмъ блгчтьсьмъ мас не ядуще ни вина пьюще. ни блуда твораще. никакая же злобы твораще. страха ради многа* (согласно славянскому переводу, у Амартола в конце *страха ради многа и бия (божия) вѣры*).

Следует отметить, что во всех трех из рассмотренных нами списков ПВЛ (Лаврентьевском, Ипатьевском и Радзивилловском) отсутствует указание на веру в Бога как на причину благочестивого поведения, в результате, в отличие от ХГА, в ПВЛ этот отрывок имеет несколько иное смысловое наполнение: никакого зла не делают из страха. В переводе Д. С. Лихачева последние слова выгля-

дят так: никакого зла не делают, имея великий страх Божьей веры. Эта фраза, безусловно, является очень важной, а возможно, и ключевой в рассматриваемом фрагменте, можно предположить, что концовка потеряна случайно, однако есть и другое предположение. Если речь идет о языческих народах, то изменение исходного контекста может объясняться стремлением древнерусского книжника подчеркнуть, что язычники не имели такой веры (т. е. закона), такого Бога, как христиане.

После цитаты из ХГА приводятся обычаи язычников-половцев, в том числе убийство, кровопролитие (*кровь проливати а хвалце w сихъ*), потребление «нечистой» пищи (*ядуце мертвечину и всю нечистоту хомьки и сусолы*), блуд, прелюбодеяние (*поимають мачехи своя [u] ятрови*). И в этой части, таким образом, находим те языческие обычаи, которые мы видели раньше, закон и обычай здесь снова обозначают одно и то же: *закон держать wць своих, и ины wбычая отець своихъ*.

Таким образом, рассматриваемый нами фрагмент представляет собой по сути пространное размышление о законе и обычае, которое заканчивается важным выводом: *мы же хсеяне елико земль иже вьрують въ стую Трцю въ едино крцинье въ едину вьру законъ имамъ единъ елико во Хса крстихомса и во Хса wблекохомса*. Именно в этой фразе утверждается существование одного закона для всех христиан, к которым автор относит и себя, и читателей, на что указывают грамматические формы местоимения (сейчас это «мы совокупности») и глаголов 1 лица множественного числа (*имамъ, крстихомса, wблекохомса*). Следовательно, можно сделать вывод, что летописные фрагменты, содержащие отсылку к какому-либо иному тексту, в ПВЛ играют очень важную роль. С одной стороны, они содержат различную информацию, которая имела большое значение для составителей русских летописных сводов: информацию об истории народов (в том числе славянских), а также о системе христианских ценностей. С другой стороны, отсылочные фрагменты выполняют функцию воздействия на читателя, которая реализуется, в первую очередь, на лексическом уровне за счет использования

сравнений и оценочных единиц, на морфологическом уровне – за счет «мы совокупности».

Летописи – памятники древнерусской литературы, отражающие особенности мировоззрения, культуры, нравов и быта средневекового человека. Придерживаясь разных подходов к анализу средневековых текстов, многие из ученых останавливаются на вопросе о том, что первостепенно для летописного повествования – отражение значительных исторических событий или усвоение и закрепление новых идеологических воззрений, пришедших вместе с христианством (см. выше). Не ставя в центр внимания вопрос о первостепенности того или иного содержания, отметим, что наличие исторического плана в летописи и признание его важности для книжников никак не умаляет и тем более не исключает наличия второго плана – идеологического, связанного с особенностями средневекового мировоззрения. В этом отношении закономерна постановка вопроса о роли библейских цитат в древнерусском тексте. Наряду с лингвистами и литературоведами, изучением библейских цитат занимаются историки. Для исторического исследования библейские цитаты представляют интерес, поскольку являются важным источником информации о специфике восприятия летописным автором того или иного события, об ассоциативных связях, проводимых между событием русской истории и событием библейским.

В большом научном наследии, связанном с исследованием летописного жанра, можно выделить ряд фундаментальных трудов, которые, давая многоуровневую характеристику жанра на культурно-историческом фоне, помогают сформировать основу для понимания роли библейских цитат в древнерусских памятниках письменности. Именно в работах такого рода решается вопрос о значении библейских текстов для русского средневекового сознания, о роли той или иной книги Библии в становлении древнерусской литературы, об отношении к сакральному Слову книжников. Это труды таких ученых, как О. В. Творогов, А. А. Шахматов, В. В. Колесов, Д. С. Лихачев, В. В. Кусков и др.

Библейские цитаты, включенные в летописи, являются феноменом, который несет определенную функциональную нагрузку. Об этом свидетельствует то, что они, будучи изначально инородными по отношению к древнерусскому тексту, намеренно в него включаются. Это включение носит не единичный, а последовательный и систематичный характер. Кроме того, сам источник цитат, обладающий непререкаемым авторитетом, не мог использоваться древнерусскими книжниками безосновательно.

Древнерусская литература, направленная на богопознание, осмысление и последующее укрепление новой христианской идеологии, ориентировалась на библейские тексты. Перед литературой стояли новые задачи, одной из которых была необходимость «выразить в слове умонепостижимые духовные ценности» [Трапезникова, 2011, с. 27]. Произведения сакрального характера стали источником формирования не только мировоззрения древнерусских книжников, но и образных представлений создаваемых ими текстов, «библейские тексты являлись источниками сюжетов, аллюзий, цитат, фразеологии и лексической семантики, оказывая тем самым влияние на сюжетостроение и стилистическое своеобразие всей литературы» [Алексеев, 1999, с. 3].

В лингвистических исследованиях основная функция библейских цитат определяется как «толкование, объяснение каких-либо положений, подтверждение важнейших мыслей автора» [Акимова, 2006, с. 167]. Классификация библейских цитат на основании выполняемой функции представлена в монографии Э. Н. Акимовой «Реализация категории обусловленности в языке памятников письменности русского средневековья (XI–XVII вв.)» [Акимова, 2006]. Автор выделяет три функции, «соотносящиеся с кругом обусловленности»: 1) оценочно-характеризующую, 2) проспективно-прогнозирующую, 3) объяснительно-констатирующую. Помимо названных, выделяются еще две, связанные с изобразительно-выразительной стороной языка: изобразительная, «проявляющаяся в описаниях», и эмоционально-экспрессивная, которая реализуется в «лирически окрашенной речи автора или персонажей (молитвах, плачах)» [Акимова, 2006, с. 170].

Первая, наиболее часто выделяемая в лингвистических исследованиях функция, – оценочно-характеризирующая. Цитаты, выполняющие данную функцию, заключают в себе, как правило, мелиоративную оценку летописных персонажей, «содержат обуславливающую их поведение характеристику» [Акимова, 2006, с. 170]. Оценка, прослеживаемая в большей или меньшей степени на протяжении всего летописного повествования, локализуется и находит яркое выражение в библейских цитатах. Выделяя оценочно-характеризирующие цитаты в отдельный тип, будем исходить из тезиса о доминировании в ряде библейских фрагментов аксиологического компонента над остальными и, как следствие, о специфическом типе воздействия – формировании отношения к историческому факту посредством оценочных единиц, т. е. совокупности «средств языка и текста, выражающих соотношение смысловых компонентов “положительно” и “отрицательно”» [Ковалев, 1997, с. 34].

Как уже говорилось выше, оценочная система в летописях носила теоцентрический характер, т. е. положительная и отрицательная оценка исторического события давалась в соответствии с христианской идеологией. Из этого следует другая черта этой оценочной системы – строгая оппозиционность. Например, в следующем фрагменте приводится высказывание Соломона о доброй и злой жене: *не вѣнчмаи злѣ женѣ медь бо каплетъ въ оустѣ ея жены любодѣица во время наслаждаетъ твои гортань послѣди же горчае золчи вбращаютъ прильпляющеса еи смръть въ вадѣ на пути въ животнѣныя не находятъ блудная же теченѣ ея неблгоразумна се же реч Соломанъ о прелюбодѣицахъ **въ добрыхъ женахъ речъ** драгѣши естъ каменя многоцѣнѣна радуетсяъ въ неи мѣжь ея дѣтъ бо мужеву своему блго все житье* (ЛЛ, 25 об.). Этот отрывок из притчи Соломона в ПВЛ представлен после рассказа о князе Владимире, который начал править в Киеве, поставил языческих богов на холме, и все им молились: *и жрѣху бѣсомъ исквернаху землю теребами своими* (ЛЛ, 25 л.). Кроме того, автор осуждает и разгульную жизнь князя, который сравнивается с царем Соломоном: *бѣ бо женолобець якоже и Соломанъ* (ЛЛ, 25 об.). В данном случае женщина – источ-

ник греха, поэтому ее надо остерегаться: *зло бо есть женская прелесть* (ЛЛ, 25 об.). К такому выводу пришел Соломон раскаявшись, к чему, очевидно, призывает и автор ПВЛ. Конечно, это касается не всех женщин, а только тех, о которых говорится *злая жена*. Это собирательный образ женщины льстивой (можно сказать лукавой) и ведущей блудную жизнь, т. е. образ грешницы, поэтому тот, кто будет с ней, после смерти отправится в ад. *Добрая жена* – это жена, которая живет ради благополучия мужа, т. е. «искусная к рукоделью, преданная семье» [Колесов, 2001, с. 123], поэтому с ней хорошо и спокойно, она обладает только положительными качествами: *не печется мужь ея в дому своем <...> и вкуси яко добро есть дѣлати и не оугасаетъ свѣтилникъ ея всю ночь руцѣ свои простираетъ на полезная локѣти своя оустремляеть на вретено руцѣ свои простираетъ оубоному плодъ же простре нищему* (ЛЛ, 26 л.). Кроме того, именно в этом случае жена – это супруга, а не просто женщина, тогда как *злая жена* в такой роли не рассматривается вообще.

Интересно, что приведенный отрывок заимствован из разных глав притчи (о злой жене – из главы 5, о доброй – из главы 31), т. е. в самом тексте притчи эти образы не сопоставляются вообще, а сделано это уже автором ПВЛ. Кроме того, в Елизаветинском переводе (далее ЕП) притчи жена не *добра*, а *добля* (*жену доблю кто вбращеть...*), что соответствует греческому *ἀνδρετός* ‘мужественный, храбрый’. Как указывает В. В. Колесов, греч. «*ἀρετή* ‘доблесть, великолепие, мощь, величие, добродетель’ благодаря своей многозначности оказывается столь же неопределенным на славянской почве: *благость, благодать или доброта, добродѣтель*» [Колесов, 2001, с. 107]. Думается, что переводчик употребил прилагательное *добль* по отношению к жене с целью подчеркнуть именно ее добродетельность, способность нести добро, благо (сравните в современном переводе: кто найдет добродетельную жену...). Автор ПВЛ использует прилагательное *добръ* в контексте, где *злая жена* противопоставлена доброй, что сводится к противопоставлению вполне конкретных образов женщин, обладающих определенными качествами.

Однако оппозиционность может намеренно сниматься автором. Так, в Книге Притчей Соломона праведник (праведный), как правило, противопоставлен нечестивому (неправедному), а потому большинство высказываний о них строятся как антитеза, например: *правдникъ во вѣки не поколеблетсѧ: нечестивіи же не населятъ земли, Оуста правднѧгѡ каплють премудрость, азыкь же неправднѧгѡ погибнетъ* (10:31, 32, ЕП). Кроме того, противопоставлены злые (они же нечестивые) и премудрые, которые, безусловно, являются праведными: *Дажь премудрому вину, и премудрѣишии будеть: сказуи правдному, и приложитъ приимати* (9: 9, ЕП). Используя такие цитаты, автор ПВЛ оставляет только ту часть высказывания, где речь идет именно о праведнике, в результате чего образ нечестивого нивелируется, очевидно, по той причине, что он не достоин внимания, в особенности тогда, когда повествуется о жизни и деяниях праведников.

Кроме того, оценочно-характеризующие цитаты, как правило, соотносятся не с обобщенным образом, а с конкретным летописным персонажем (реже – группой), его поступком, и эта соотнесенность имеет не завуалированный, а нарочито открытый характер. Например, жизненный путь княгини Ольги нельзя назвать праведным (стоит вспомнить о ее беспощадной, жестокой мести деревлянам, участии в завоевательных походах и т. д.), но после крещения она словно становится иной, ей открывается мудрость Божья. И если в рассказе о деяниях княгини до крещения авторская оценка практически отсутствует, то в повествовании о принявшей христианскую веру Ольге позиция летописца заявлена вполне определенно: она первая праведница на Руси. После описания смерти Ольги автор ПВЛ восхваляет княгиню, вошедшую в царство небесное, русские сыны почитают ее как свою начальницу, ибо и по смерти молила она Бога за Русь. А далее с помощью нескольких высказываний о праведниках из разных источников, объединенных в одном контексте, развивается мысль о том, что душа праведника не умирает (*правднхъ бо дша не оумираютъ* (ЛЛ, 20 об.)). Ряд цитат начинается с отрывка из Книги Притчей Соломона: *якоже реч Соломанъ похвалам правдн-*

му възвеселатса людѣе (ЛЛ, 20 об.). Данный отрывок представляет собой начало цельного высказывания: *похваляемымъ првднымъ, возвеселатса людѣе: начальствующымъ же нечестивымъ, стенать мужіе* (29:2, ЕП). Значит, исчезает противопоставление праведных и нечестивых, актуальное для автора источника, но, очевидно, не актуальное для автора ПВЛ в данном контексте.

Дальше в тексте ПВЛ, судя по всему, представлены слова ее автора: *бссмръе бо есть память его яко въ Ба познаваетса и въ члвкъ се бо вси члвци прославляютъ видаща лажаящая в тѣлѣ на многа лѣт* (ЛЛ, 20 об.). После чего снова цитаты, причем две подряд с указанием на источник: *реч бо прркъ прославляющая ма прославлю въ саковѣхъ бо Двдъ глице в память првднкъ будеть въ слуха зла не оубоитса готово срце его оуповати [на] Гса оутвердиса // срце его и не по движетса* (ЛЛ, 20 об.-21 л.). Завершает этот ряд цитата из Книги Премудрости Соломона (5:15, 16): *Соломанъ бо реч првдници въ вѣки жиоуть и въ Га мѣзда имъ есть и строенье въ Вѣшинаго сего рад примуть црствие красотѣ и вѣнецъ добротѣ въ руки Гсна яко десницею покрываетъ я и мышцею защититъ я* (ЛЛ, 20 об.-21 л.). Таким образом, авторский текст и цитаты настолько органично существуют, что границы того или другого не сразу можно определить. Слова автора и высказывания Соломона и пророков словно перетекают друг в друга, в результате создается впечатление целостности всего отрывка, который начинается и заканчивается словами летописца: *си бы предътекуция крѣпостьѣ земли <...> защититъ* (по другим спискам *защитиль* – Л.К.) *бо есть сию блжну Вольгу въ противника и супостата дѣвола* (ЛЛ, 20 об.-21 л.).

В повествовании о жизни Владимира до крещения нельзя не заметить позиции автора-христианина, когда он рассказывает о деяниях князя-язычника: *привожаху сны свои и дѣщери и жраху бѣсомъ wskвернаху землю теребами своими и wskверниса кровьюми земля Руска и холмо-тъ но прѣлгии Бѣ не хота смрти грѣшникомъ* (ЛЛ, 25 л.), *бѣ бо женолобець якоже и Соломанъ бѣ бо рече оу Соломана женѣ <...> а наложницѣ <...> мудръ же бѣ а наконецъ погипе се же бѣ невѣголось а наконецъ вбрѣте спснѣе велии Гѣ и велья крѣпость*

его и разуму его нѣс конца (ЛЛ, 25 об.). Приняв христианскую веру, Владимир строит церкви, в том числе и там, где прежде были языческие кумиры, усердно молится Богу, совершает и другие благодеяния, живет в мире с соседними князьями, потому что, как говорит летописец, *живаши же Володимеръ в страсть Бжьи* (ЛЛ, 43 об.). После смерти князя люди воздали ему должное и как заступнику земли, и как кормильцу: *плакашеса по немь боларе акы заступника ихъ земли оубози акы заступника и кормителя* (ЛЛ, 45 л.). Сравнивая Владимира с Константином, крестившимся и крестившим своих людей, автор указывает на то, что Владимир, будучи изначально одолеваем скверными похотными желаниями, после усердно покался. Акцент делается на том, что именно крещение Русской земли – самое главное добро (благо), сотворенное князем, а потому он должен быть увенчан вместе со всеми праведниками: *дажь ти Гсъ вѣнецъ с праведными в пици раистѣи веселье и ликъствованье съ Авраомь и с прочими патриархы* (ЛЛ, 45 л.). А далее следует цитата из Книги Притчей Соломона: *якоже Соломонъ реч оумершю мужю праведну не погыбасть оупованье* (ЛЛ, 45 л.). Цитирование достаточно точное, различия только в вариантах упование – надежда, что не является принципиальным для смысловой нагрузки, но в то же время данный отрывок является первой частью цельного высказывания, где мы снова видим противопоставление праведных и нечестивых, отсутствующее в ПВЛ: *Скончавшуся мужу првдну, не погыбнетъ надежда: похвала же нечестивыхъ погыбнетъ* (11:7, ЕП).

Таким образом, оценочно-характеризующие цитаты последовательно используются в некрологических похвалах князьям, в рамках которых вырабатывается идеал князя-правителя. Исследователи выделяют в характеристиках князей две линии – патриотическую и нравственную. В соответствии с первой линией правитель является «воплощением любви к родной земле, ее чести и славы, олицетворением ее могущества и достоинства», все его поступки «определяются благом родины и народа» [Кусков, 2003, с. 63]. Такой правитель – в первую очередь «исторический деятель, который появляется всегда в официальной обстановке, наделенный всеми атрибутами княжеской

власти» [там же]. Другая линия диктует изображение князя-праведника. При таком изображении «перечисляется примерно один и тот же круг добродетелей, входивших в представление об идеальном правителе: призрение нищих и убогих, мужество, ум, справедливость» [Трофимова, 2006, с. 270]. В погодных записях эти две линии переплетаются, «при этом одни добродетели чисто механически присоединяются к другим, благодаря чему стало возможно совмещение идеалов светских и церковных», так, «бесстрашие, храбрость, воинская доблесть сочетаются со смирением, кротостью и прочими христианскими добродетелями» [Цит. по: Кусков, 2003, с. 63].

Итак, использование в летописи оценочно-характеризующих цитат тематически закреплено, систематично и закономерно. Посредством библейского слова летописец формирует определенное отношение к тому или иному факту истории. Поскольку ценностная система в летописи носит теоцентрический характер, библейское слово получает особый вес, а оценка – категоричность, т. е. абсолютную уверенность в ее истинности.

ГЛАВА 3. КАТЕГОРИЯ МОЛЧАНИЯ: НАЦИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННАЯ СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ

3.1. Молчание в структуре речевого общения: история изучения

Категория молчания привлекала внимание мыслителей на протяжении всей истории человечества (Плотин, Григорий Палама, Сергей Радонежский, Серафим Саровский, М. Фуко, Ж. Лакан, Ж. Деррида, М. Бахтин, С. Хоружий и др.). Изучение молчания в лингвистике началось одновременно с исследованием коммуникации и напрямую было связано с развитием антропоцентрической парадигмы в гуманитарном знании, достигнув своего пика во второй половине XX века на фоне развития теории речевых актов, что, несомненно, определило вектор изучения данной категории.

Во-первых, молчание лингвистами соотносилось с речью, анализировалось относительно речи. Подобно высказыванию в речевом акте, молчание, выполняющее разнообразные функции, способно выступать нулевой репликой в особом акте – силенциальном. Такой подход обуславливает оппозицию речь – молчание, что позволяет ученым причислять молчание к невербальной коммуникации, а также оставлять за рамками анализа молчание-не акт, не менее значимое для коммуникации в частности и лингвокультуры в целом. В дефиниции С. В. Крестинского, наиболее часто встречающейся в современном лингвистическом дискурсе, молчание толкуется как «акт молчания, который, будучи включенным в структуру языкового общения как один из его невербальных компонентов, способен выполнять некоторую коммуникативную функцию, то есть способен быть единицей общения, знаком, коммуникативным актом» [Крестинский, 1990b, с. 6]. Данное определение подводит черту в изучении молчания в структуре коммуникации.

Во-вторых, являясь неотъемлемым структурным элементом коммуникации, молчание рассматривается лингвистами при решении других научных задач. Это приводит к тому, что исследования, так или иначе связанные со сферой молчания, многоаспектны и не све-

дены к единой целостной системе, во многом вследствие отсутствия алгоритма лингвистического анализа категории молчания (A. Jaworski, D. Kurzon, D. Tannen, M. Saville-Troike). Само понятие «молчание» отличается многозначностью и функционирует в лингвистическом дискурсе скорее как метафора, нежели терминологическая единица: «молчание – это не ничто, а нечто» [Крестинский, 1990b, с. 2].

В-третьих, рассматривая молчание как общечеловеческий феномен, ученые стремились выделить универсальные признаки данной категории, оставляя без внимания тот факт, что молчание способно максимально полно раскрывать свое содержание и адекватно интерпретироваться адресатом только в координатах национальной культуры.

Находясь в фокусе внимания ученых с середины XX века, молчание как предмет изучения в современной лингвистике создает обширное исследовательское поле, что, несомненно, обусловлено многозначностью и полифункциональностью молчания как феномена человеческой коммуникации (В. В. Богданов, С. Ю. Данилов, С. В. Крестинский, С. В. Меликян, С. Baker, M. Ephratt, A. Jaworski, J. V. Jensen, D. Kurzon, W. Sobkowiak, D. Tannen, M. Saville-Troike и др.). Ключевая идея, что молчание так же значимо для коммуникации, как и говорение, но раскрывает свои смыслы только на фоне речи, обусловила в языкознании основные научные тезисы.

1. Молчание в коммуникации (коммуникативно значимое молчание) отличается от молчания физиологического (В. В. Богданов, Е. Ф. Груздева, С. В. Крестинский, Г. Г. Почепцов, Т. Bruneau, W. F. Eadie, D. Tannen, M. Saville-Troike, A. Jaworski).

2. Подобно слову как единице говорения, молчание может передавать разнообразные смыслы. В зависимости от коммуникативных ситуаций, оно выполняет различные функции, заимствованные у слова. Это приводит к интерпретации молчания как функционально дефицитной категории по сравнению с высказыванием (Н. Д. Арутюнова, В. В. Богданов, С. В. Крестинский, D. Kurzon, W. Sobkowiak).

3. Многозначность и полифункциональность позволили выделить множество видов молчания (В. Н. Бабаян, В. В. Богданов, А. А. Кибрик, С. В. Крестинский, С. В. Меликян, О. Е. Носова, Г. Г. По-

чепцов, Б. Ф. Поршнева, Е. С. Радионова, Э. Эстерберг, М. Argyle, С. Baker, P. Brown, Т. Bruneau, А. Gibson, Z. Gurevich, R. L. Johannesen, W. Griffin, С. Heath, V. Jensen, G. Kaufman, L. Kedar, D. Kurzon, S. Levinson, L. A. Malandro, S. Miller, M. Saville-Troike).

4. Молчание, несмотря на свою материальную невыраженность, способно нести информацию, адресно воздействовать на реципиента, что обусловило определение молчания как нулевого речевого акта, нулевого знака (М. М. Бахтин, В. В. Богданов, В. Г. Борботька, С. Ю. Данилов, Е. Ф. Груздева, А. А. Кибрик, С. В. Крестинский, С. В. Меликян, Б. Ф. Поршнева, Г. Г. Почепцов, М. Н. Эпштейн, К. Vach, Т. Bruneau, А. Ettin, W. Griffin, А. Jaworsky, D. Murray, M. Saville-Troike, Т. Sebeok, W. Sobkowiak, D. Tannen, S. Tyler).

5. Молчание противопоставлено говорению, слову, следовательно, относится к невербальной коммуникации (С. А. Аристов, В. В. Богданов, Г. Е. Крейдлин, С. В. Крестинский, С. В. Меликян, М. Anderson, S. J. Barker, G. Bente, N. Kramer, F. Poyatos, M. Saville-Troike, F. Scott, W. Sobkowiak, D. Tannen).

Отметим, что молчание рассматривается учеными и относительно другого предмета исследования. Так, молчание изучается в контексте теории невербальной коммуникации (О. В. Кириллова, Е. М. Мартынова, Е. А. Русина, О. Н. Тарасова и др.), согласованной коммуникации, диалога (В. Н. Бабаян, О. Н. Морозова, Д. Б. Мухаметов и др.), воздействия (В. З. Демьянков, И. А. Стернин, Е. И. Шейгал, Е. В. Шелестюк и др.), семантики фигуры умолчания (В. В. Андреев, Е. Ф. Груздева, Е. И. Клемнева, Е. П. Сеничкина и др.), семантики невыразимого (М. Ю. Михайлова), языкового нулевого знака в теории неопределенности, подтекста (О. Б. Акимова, Т. В. Бульгина, И. В. Вороновская, Е. П. Иванян, И. А. Мельчук, Е. В. Падучева, Н. В. Пушкарева, А. Д. Шмелев и др.), в лингвистике эмоций (И. С. Баженова, Ю. Б. Дюндик, Н. В. Кириллова и др.).

При всем многообразии работ, посвященных молчанию, следует сказать, что они выполнены в рамках узкого подхода к изучению данной категории в коммуникации – молчания как речевого акта, что на сегодняшний день представляется недостаточным.

Современная когнитивно-дискурсивная парадигма в лингвистике, а вместе с ней и развивающиеся теории речевой деятельности, дискурса, речевого (коммуникативного) поведения позволяют выявить пробелы теоретического описания категории молчания, обнаружить недостаточность имеющегося на сегодняшний день научно-понятийного аппарата, перенести акцент в исследовании молчания с нулевого текста как структурного элемента речевого акта на его создателя и интерпретатора, носителя определенного языкового сознания.

Данная парадигма расширяет молчание как предмет исследования: в поле лингвистического анализа попадает как субъект молчания, так и его интерпретатор, что обуславливает выявление этноспецифики категории молчания. Тем не менее тезис о национально-культурной обусловленности данной категории остается в лингвистике без должного развития. В лингвистике прежде всего доказывалась универсальность молчания в структуре общения, вследствие чего ученые обращаются к фактам различных языков. Так, первое системное исследование молчания выполнено С. В. Крестинским на материале русского, немецкого, английского, французского языков. С. В. Меликян, привлекая к изучению данной категории драматические тексты, выявляет общие, универсальные, функции молчания. Таким образом, можно констатировать, что комплексные работы, посвященные категории молчания как элемента национальной лингвокультуры в целом и коммуникативной деятельности на национальном языке в частности, практически отсутствуют.

3.2. Языковая репрезентация идеи молчания в русской лингвокультуре

Тезис о связи языка, мышления и культуры приобретает в когнитивно-дискурсивной парадигме особую актуальность. Исходя из того, что в языке фиксируется то, что значимо для культуры и ее носителей, рассмотрим фиксацию идеи молчания в русском языке. Обращение к истории позволяет выявить основные этапы формиро-

вания данной категории, а сопоставление различных языков – специфичное, национально обусловленное.

1. Основной тезис исследований молчания – молчание как универсальная категория объединяет все человечество. «Им случалось говорить по-коптски и по-еврейски, по-гречески и на латыни, по-грузински и по-сирийски или же молчать на всех этих языках» (М. Павич. Пейзаж, нарисованный чаем).

Ученые, изучающие молчание, обнаруживают факт, что многие языки различают как минимум 2 типа молчания:

фр.	<i>silence</i>	<i>se taire</i>
нем.	<i>schweigen</i>	<i>stille</i>
польс.	<i>milczenie</i>	<i>cisza</i>
исп.	<i>sillencio</i>	<i>callar</i> и др.

Несомненным является и тот факт, что более богатая фиксация идеи молчания в том или ином языке культурно обусловлена, является следствием определенного мировоззрения, оказывающего влияние на становление языкового сознания в целом, национально-коммуникативного поведения в частности [Sobkowiak, 1993].

В современном русском языке идея молчания выражена множеством языковых единиц: *молчание, тишина, тишь, безмолвие, ничто, пустота, пауза* и др. Все это для носителей русской лингвокультуры знаково: разные репрезентанты наделены и различным содержанием. Вспомним в пьесах Л. Андреева в авторском тексте: «Молчание – Взволнованное молчание – Тишина – Мертвая тишина» (Л. Андреев. Самсон в оковах). Молчание в ремарках автора не равно тишине, отсутствию звуков: «Молчание (*слышна канонада*)», «Молчание (*Беспорядочный шум за окном растет*)» (Л. Андреев. Самсон в оковах).

В произведениях Л. Андреева молчание и тишина – явления разных миров, и молчание характеризует мир человека: «Со дня похорон в маленьком домике наступило молчание. Это не была тишина, потому что тишина – лишь отсутствие звуков, а это было молчание,

когда те, кто молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят» (Л. Андреев. Молчание).

Такое явное различие значений лексем *молчание* и *тишина* обращает на себя внимание многих исследователей [Йоко, 2002; Логинова, 2003; Мартынова, 2012; Эпштейн, 2006].

Обращение к текстам русской литературы позволяет построить поле сочетаемости данных единиц.

Как и мир человека, молчание проникнуто эмоциями: оно может быть *глубоким, индифферентным, холодным, укоризненным, невозможным, осторожным, обреченным, гробовым, тяжелым, тягостным, угрюмым, тревожным, напряженным, настороженным, неодобрительным, ватным, безнадежно глухим и неотзывчивым, невразумительным, затруднительным, благовейным, натянутым, томительным, странным* и т. д.

Молчание может *наступить, воцариться, обрушиться*. В молчание можно *погрузиться*, его можно *разбить, нарушить, прервать*, на молчание можно *обречь, осудить*.

Молчание в русской культуре самодостаточно, субъектно. На страницах русской литературы молчание *выносит приговор, проклинает и наказывает, обижает* и *больно бьет*, в то же время *возбуждает любопытство, звучит согласием, уверяет, ласкает, дарит надежду, господствует*.

Герои на страницах русской литературы молчания *не выдерживают, чумеют, сходят с ума, пугаются, не могут вынести «невидимых уз свинцового молчания»* (Л. Андреев. Жизнь Василия Фивейского), но молчание для них – это и *дар, надежда, вера, сладость, искус, «сдерживаемая сумятица чувств»* (там же).

Единица «тишина» – еще один репрезентант идеи молчания в русской культуре. Однако, если молчание знаково для коммуникации, тишина толкуется как «отсутствие говора, звуков, шума» вообще [МАС]. Это осознается носителями русской лингвокультуры: тишина *немая, безмолвная*. Она не подвластна человеку, она не характеризует отношения, в которые вовлечен человек. И поле сочетаемости лишь подтверждает ее индифферентность по отношению

к человеку: тишина *бесстрастная, неземная, глубокая, невозмутимая, торжественная, священная, безмятежная, бесконечная, «чуждая всему миру»* (И. А. Бунин. Тень птицы).

Тишина прекрасна, когда *молчит природа*. Тишина в природе *царствует, зачаровывает*, она *естественна, светла*. Такая тишина является несомненной ценностью в русской культуре, она эстетична, созерцательна. Такая тишина *лечит душу*: *«Погода была волшебной. Морозно и ни ветерка, падал лёгкий пушистый снег, тишина, но знаешь, такая тишина, которая полна звуков, хруста снега под ногами, гулом города и во всём этом было какое-то по-настоящему зимнее спокойствие. Засмотревшись, я даже не заметил, как пролетело время... Это действительно очень красиво»* (В. В. Розанов. Опавшие листья).

Тишина в мире природы противопоставлена тишине в мире человека как тишине *неестественной, невыносимой, глухой, жестокой, равнодушной, жуткой, давящей душу*: *«Что значит эта тишина, – думал Бельтов, – глубокую думу или глубокое бездумье, грусть или просто лень? Не поймешь. И отчего мне эта тишина так тягостна, что хоть бы повернуть оглобли; отчего она меня так давит? Я люблю тишину. Тишина на море, в селе, даже просто на поле, на ровном, вдаль идущем поле, наполняет меня особым поэтическим благочестием, кротким самозабвением. Здесь не то. Там – ширь с этим безмолвием, а здесь все давит <...>»* (А. И. Герцен. Кто виноват?). Часто такая тишина ассоциируется со смертью, последним покоем, будто сама по себе является смертью.

Молчание, тишина, тишь, безмолвие... Особый статус молчания в русской лингвокультуре, молчания на стыке материального и идеального, складывался исторически.

2. Слово *молчание* – ключевая лексема репрезентации категории молчания в русской лингвокультуре – имеет неясную этимологию. В древнерусских текстах с XI века функционируют единицы *мълчати (мльчати), мълчаливый (мльчаливый)*, восходящие к общеславянскому корню *mьlk-, означающему ‘мягкий, слабый, вялый,

глупый’, что вполне может наводить на мысль о некой негативной коннотации, связанной с компонентом ‘глупый, не владеющий словами, не могущий говорить’ [ИЭССРЯ].

В словаре старославянского языка [СС] зафиксированы лексемы *млъчание*, *безмлъвие*, *безмлъвьствие*, *тихость*, *тихота*, *тишина*. Анализ словарных статей выявляет общее, позволяющее обозначить единицы *млъчание*, *безмлъвие*, *безмлъвьствие* как синонимы.

Ср.:

млъчание – ‘молчание, тишина’, ‘немота’, ‘монашеский или отшельнический подвиг молчания’;

безмлъвие – ‘безмолвие, тишина’, ‘монашеский или отшельнический подвиг молчания’;

безмлъвьствие – ‘безмолвие, покорное молчание’.

(1) *Паче же безмлъвие любяше и млъчаниюю прилежашие, отъ того и млъчалникомъ прозван бысть. Рог. лет., 153-154 [СРЯ XI–XVII вв.].*

Обращение к глаголу *млъвити* позволяет уточнить семантику анализируемых единиц. Данный глагол функционирует в значении ‘шуметь, волноваться’, ‘заботиться, беспокоиться’. То же, что и *говорити* (‘шуметь’), *мясти* (‘находиться в смятении, тревожиться’), *плищевати* (‘беспокоиться, волноваться’). Отсюда *млъва* – ‘шум, волнение, смятение’ (то же, что и *възмущение*, *говоръ*, *мятежь*, *плищь*, *съмущение*), *говоръ* – ‘шум, гул’ (то же, что и *млъва*) [СДРЯ]. Таким образом, единицы *безмлъвие* и *безмлъвьствие* связаны с покоем в душе, отсутствием эмоций или умением их сдерживать. *Безмлъвие* как ‘монашеский или отшельнический подвиг молчания’ указывает на смирение и покорность – ‘покорное молчание’:

(2) *Безмолвие съ трезвѣниемъ оудержавы чрево. оумалить стр(с)ти. ИларПосл XI сп. XIV, 198 [СДРЯ].*

Как синоним единицам *млъчание*, *безмлъвие* рассматривается и лексема *тишина*: *тишина* ← *тихи* – ‘тихий, мирный, спокойный’, то же, что и *кроткъ*; глагол *тишити* имеет значение ‘уме-

рять, успокаивать»; производные *тихость*, *тихота* толкуются как ‘кротость’, ‘мягкость’.

Таким образом, в древнерусском языке ключевая лексема *млъчание* создает широкие семантические связи с единицами *безмлъвие*, *безмлъвьствие*, *тихость*, *тихота*, *тишина*, обусловленные влиянием христианского мировоззрения, становление которого происходит параллельно с развитием письменной языковой системы. Молчание как ритуал сопровождается смирением и душевным покоем, обозначенным в языке как *безмлъвие*, приводящим к кротости, спокойствию – *тишине*.

(3) *Не подобьна ли дша (душа) кротькаго пустыни, въ неи же велико млъчание есть и тихо все. Златостр., 92. XII в. [СРЯ XI–XVII вв.].*

(4) *Егда той преподобный Иоаннь въ послушании старца своего со смиренномудриемъ заповедь его исполняя, прохождаше путь безмолвия, уста святая въ молчании соблюдая. Ирм. Сол. м., 355. 1687 [там же].*

(5) *Въ тишинѣ пребываетъ душа и въ мирѣ глоубоць. Никиф. м. Посл. Влад. Мон. 62 [МСДРЯ].*

Несомненно, перед нами факт влияния религии, христианской картины мира на язык, на становление концепта «молчание» в славянской модели мира. Скорее всего, мы имеем некое переплетение ритуала молчания, свойственного разным мифо-религиозным системам, начиная с античной, – обета молчания [Аверинцев, 2004], и христианской аскетической традиции молчальничества, нацеленной на познание Бога «безмолвствующим славословием» [Денисов, 1839]. В данном контексте сочетание *безмолвствующее славословие* не является избыточным, так как *безмолвствующее* не предполагает отсутствие слова, речи, а указывает на душевный покой, на победу над земными страстями. Вспомним слова Серафима Саровского о том, что «совершенное безмолвие есть крест, на котором человек должен распять себя со всеми страстьми и похотьми» [там же].

Анализ исторических словарей позволяет сказать, что значения анализируемых единиц со временем расширяются за счет уве-

личения компонентов, связанных с молчанием и успокоением как христианскими ценностями, при этом компоненты значений могут приобретать самостоятельную языковую фиксацию: *млъчание* – ‘молчание, безмолвие’, ‘духовность, созерцательность, молитвенное состояние духа’; *млъчати* – ‘молчать, безмолвствовать’, ‘хранить обет молчания’, ‘предаваться посту и молитве’; *млъчальнии* – ‘исполненный молчания, связанный с обетом молчания, безмолвный, непродносимый вслух’, ‘безропотный, беспрекословный’; *млъчальница* – ‘монашеская келья’, *млъчальникъ* – ‘тот, кто принял обет молчания’; *безмълвити* – ‘жить отшельником, давшим обет молчания’, *безмълвникъ* – ‘отшельник, давший обет молчания’ и др. [СДРЯ].

Компоненты, связанные с душевным успокоением, покоем позволяют расширить данное семантическое поле и другими единицами, производными от *тихьи*. Помимо значений, характеризующихся отсутствием шума (‘имеющий небольшую силу звучности, негромкий, не производящий шума, бесшумный, беззвучный’), выделяются и такие компоненты, как ‘молчаливый’, ‘мирный’ [ИЭССРЯ], ‘спокойный’, ‘безопасный’, ‘кроткий’, ‘добрый, благожелательный’, ‘благостный’ [СДРЯ]. Данные значения характеризуют и производные: *тихость* (‘спокойствие’, ‘кротость’, ‘титул, который придавали себе иерархи’), *тихота* (‘успокоение’, ‘душевная тишина’, ‘благость’), *тишина* (‘тишь’, ‘мир’, ‘спокойствие’, ‘покой’), *тишьство* (‘спокойствие’). Вместе с глаголом *тишати* как ‘усмирать, успокаивать’ функционирует и существительное *тишение* (‘успокоение’), указывающее на результат [МСДРЯ].

Ср.:

(6) *Тишинѣ суши, морю оукротившюса, абѣе бурѣ вѣста с вѣтромъ. Пов. вр. л. 6374 г.*

(7) *Въ радости и тихотѣ. Жит. Феод. Сик. Мин.*

(8) *Многоу тихотоу прѣать оумъ мои. Прохор. Жит. Ю. Бог.*

(9) *Избра Богъ и святая Софгѣя и престоль Божїа мужа добра, тиха, смирена Іоана, игумена святаго Спаса. Новг. I л. 6896 г.*

(10) *Притѣкающе вѣроу, приѣмлемъ тишение и лютыхъ избавленіе. Мин. 1097 [МСДРЯ].*

Семантика единицы *млъчание* имеет еще один вектор развития – указание на отсутствие речевой деятельности: *млъчати* – ‘в *млъчании* *быти*’.

(11) *А ему де Акаску дали за **молчалъ** (млъчание) пай, чтобы онъ на нихъ **не сказалъ**. А., кунгур., 26. 1675 г. [СРЯ XI–XVII вв.]*

Глаголу *млъчати* противопоставляется *глаголати*, то есть ‘говорить, проповедовать’, ‘высказываться против кого-л., жаловаться на кого-л., обвинять кого-л. в чем-л., ‘противоречить, возражать, ‘говорить попусту’, ‘говорить кратко, скупыми словами’, а существительному *млъчание* – *глаголание*, то есть ‘говорение, речь, многословие’, то же, что и глаголь, глась, речь. В словарном толковании зафиксировано сочетание безъ гласа как ‘молчаливый, тихий’, ‘молча, тихо’. На взаимосвязь единиц *млъчание* и *глаголание*, *млъчати* и *глаголати* указывают и некоторые их компоненты: *млъчание* – это и ‘немота’, *не глаголати* – ‘быть немым’ [СС].

В дальнейшем в древнерусском языке основные значения единиц расширяются: гласити – это не только ‘звать, вопить’, но и ‘издавать звуки’; говорити – это не только ‘роптать, жаловаться’, но и ‘разговаривать’; *мълвити* – не только ‘беспокоиться, суетиться’, но и ‘говорить, наговаривать на кого-л.’. Значение корня единицы *мълва*, связанное с выражением чувств, эмоций, сохраняется и обуславливает значения других однокоренных единиц: *мълва* – ‘шум, волнение, смятение’, ‘раздоры, ссоры, беспорядок’; *безмълвный* – ‘безмятежный, тихий, спокойный’; *безмълвство* (*безмълвие*) – ‘молчание, безропотность, спокойствие’ [СДРЯ].

Если характеризовать единицу *млъчати* как действие, противоположное *глаголати*, то следует отметить, что в древнерусском языке находит реализацию и идея преднамеренного молчания: глагол *млъчати* (‘умалчивать что-л., о чем-л.’), причастие *млъчимыи* (‘умалчиваемый’). Словарями фиксируются и единицы, характеризующие человека, предпочитающего молчать, любящего молчать (*мълчнолюбыць* – ‘тот, ко любит молчать’) [СДРЯ].

3. Отметим, что в древнерусском языке идея прагматического молчания репрезентируется и с помощью приставочных образований. Языковое явление префиксации, характеризующее славянские языки, создает на основе базовой единицы мльчати ряд производных с новыми или корректирующими смыслами: *помльчавати* ('молчать некоторое время'), *помолчати* (1) ('молчать некоторое время', 'успокоиться, прекратить движение', 'прекратить общение с кем-л. '), *помлькнути* ('промолчать, помолчать', 'успокоиться, уняться, прекратить что-л. '), *промолчати* ('молчать чаще долгое время'), *замолчати* ('перестать говорить', 'сдержаться, смолчать'), *смолчати* ('оставить без внимания') [СДРЯ].

(12) *А я тебѣ в послѣдние говорю! Замолчи, зажми рот, и отцу своему не противься. Лук. Пуст. 159* [СРЯ XVIII в.].

(13) *Отступник же помолчав немного и рече: добр на вас ныне царь, горазд он вас бить кнутом да огнем жечьчи, да ребра ломать. Прение верн. инока, 288. XVII* [СРЯ XI–XVII вв.].

(14) *А ще бы помльклъ, тогда... велика бы дарованья сподобился за молчание. Пч., 197. XIV–XV вв.* [там же].

Помимо сужения, конкретизации значения за счет префикса, единицы, производные от *мльчати*, могут приобретать и новые смыслы: *помолчати* (1) – 'успокоиться, прекратить движение', 'прекратить общение с кем-л. '; *помлькнути* – прекратить что-л. '; *смолчати* – 'оставить без внимания, утаить'.

(15) *Царь еси, господине княже, въ своей земли; ты истязанъ имаши быти на страшнѣмъ и нелицемѣрнемъ судиши Христовѣ, аже смолчиши митрополиту (Посл. Акикд. РИБ VI, 158. 1505 г.)* [СРЯ XI–XVII вв.].

Отметим и тот факт, что приставочные образования становятся языковым репрезентантом идеи преднамеренного молчания: *помолчати* (1), *помолкнути*, *замолчати*, *смолчати*. Компонент значения глагола мльчати 'умалчивать что-л., о чем-л.' приобретает собственную языковую фиксацию *помльчение*.

(16) *Яко инѣмъ инако... поборено бысть, или худѣ прѣмудрися, или помлъчению подобно, или не зѣло похваленѣ? Гр. Наз., 53. XI в. [там же].*

(17) *Здѣ мудрость, иже имать умъ, да почтетъ число звѣрино, число человѣческо и число его 666. Но семь помолчю и слезами потру. Исп. Авр., 50. 1670 г. [там же].*

Историческими словарями зафиксированы приставочные образования и от глаголов *тишати, тихнути – утишити, затихати, утихати* [ИЭССРЯ] в значении ‘успокаивать, умирять’, употребляемых как в отношении человека, так и природы.

(18) *Утишиися градъ. Игн. Тут. (Пал. 13) [МСДРЯ].*

(19) *Повелѣ всадити ихъ в порубѣ людии дѣля, абы утишился мятежъ. Лавр. л., 6685 г. [там же].*

4. В исторических словарях русского языка [СД; СРЯ XI–XVII вв.; СРЯ XVIII в.] мы можем наблюдать трансформацию значений анализируемых единиц. Прежде всего, зафиксируем развитую словообразовательную парадигму: глаголы *молчать, молкнуть, малчивать, молкать*, принимающих на себя и значения древнерусской лексики *безмолвствовать* ‘тихнуть’, ‘затихать’, ‘не шуметь’, ‘не говорить’, ‘не издавать звука’, ‘терпеливо сносить’, ‘не роптать’, а также слова *молчанье, молчка, молчба, молк, молчок; молчная дума* (‘немая’), *молчбище* (‘немое сходбище’), *молчун, молчунья, молчаливый человек* (‘неразговорчивый, малобеседливый, малословный’), *молчаливость* (‘склонность к молчанью’); *молчеватый* (‘малословный’), *молчанка* (‘безмолвье, молчанье, общий молк’), *молчатель* (‘скрывщик, скрываетель, утайщик’), *молчальный* (‘к молчанью относящийся’), *молчальник* (‘кто наложил на себя обет немоты’); *молчальница* (‘келья молчальника’), *молчальников, молчальницын* (‘ему, ей принадлежащее’), *молчальничий, молчальнический, молчальничать, молчалъствовать* (‘вести молчальную жизнь’).

Эта парадигма свидетельствует о том факте, что постепенно компонент ‘молчание как религиозный акт’ уходит на периферию значения единицы *молчание*, но умение созерцать, молчать с целью

самопогружения, самопознания обуславливает новые компоненты, связанные, с одной стороны, с немногословием, неразговорчивостью как чертой характера человека, с другой – со способностью носителя русской лингвокультуры ‘выражать и понимать без слов’ как особенностью русского коммуникативного поведения. Молчание направлено на совершенствование души, погружение в молчание нацелено на качественное изменение внутреннего Я, на согласие с самим собой.

(20) *Нравится в ней мнѣ паче, ея Молчание, Скромность, Уединение, и в трудах неусыпна Прилѣжность. Трд. Тилем. II 181. Когда ты хочеш быть здѣсь весел и щастлив? Так ты не должен быть дѣтинушка болтлив; Молчание всево на свѣтъ сем дороже. Майк. Ел. 35. [СРЯ XVIII в.].*

(21) *Хотяб уста и замолчали, Но сердцу можно ли молчать Когда разят его печали? Спб. ж. I 257. Природа вся жива, и жизнью вѣчно дышет .. Лишь сердцем не молчи, С тобой бесѣдуют и горы и ключи. ММ III 39. [там же].*

(22) *Гармония заключила во объятія своего супруга, и сим молчащим отвѣтом увѣрила его, паче нежелъ словесами, что она Кадма не оставит. Хрс. Кадм 94. [там же].*

К XIX в. значение единицы *молчание* ‘религиозный акт’ все реже фиксируется словарями, уступая место компоненту ‘выражать и понимать без слов’.

(23) *Но в изумленьѣ молчаливом Кого же в рыбаке счастливом Наш юный витязь узнает? РЛ V 343 [СЯП].*

(24) *На игры младости глядишь С молчаньем хладным укоризны. С2 70.4 [там же].*

(25) *Но может быть вздохну в восторге молчаливом, Внимая звуку струн твоих. С2 13.26 [там же].*

Развивается и компонент ‘преднамеренное молчание’, приобретающий все больше и больше самостоятельных языковых репрезентантов. Лексема *безмолвие* толкуется через единицы *молчанье, тишина, тишь* как ‘отсутствие говора, голоса, звука, полная тишина’, сохраняется функционирование единицы *безмолвник*, то есть

‘наложивший на себя обет молчания’. Интересно зафиксированное употребление *безмолвить кого* в значении ‘лишать речи’: *обезмолвить* может, например, чувство сильного страха. Отметим и трансформацию значения *тишина*, теряющего компонент ‘благость’ и обозначающего ‘отсутствие крика, шума, стука’ и ‘мир, покой, согласие и лад’; *тихий* толкуется как ‘глухой, слабый’ [СД].

Приставочные образования, зафиксированные в «Словаре живого великорусского языка» [СД], позволяют сказать, что, благодаря префиксации глагола *молчать*, многие компоненты ключевой леммы приобретают в русском языке самостоятельную языковую фиксацию (см. таблицу 1).

Усиливается компонент «преднамеренное молчание», приобретающий все большее количество репрезентантов, например, *умалчиватель*, *умолчатель (-ница)* – ‘человек, у(с, про)молчавший о чем-либо’. Все большее количество единиц, указывающих на склонность к молчанию: *умолчливый человек* – ‘человек себе на уме, который лишнего не выскажет, скрытный’, *помолчка* – ‘привычка молчать’.

Таблица 1

Языковая фиксация компонентов значения ключевой леммы «молчать»

Компонент значения	Языковая фиксация
‘знать про себя, не разглашать, скрывать, таить’	<i>умалчивать</i> , <i>смалкивать</i>
‘недосказать, не упомянуть, пропустить в рассказе’	<i>умалчивать</i> <i>смалкивать</i>
‘перестать говорить’	<i>умолкнуть</i> <i>замолкнуть</i> <i>смолкнуть</i>
‘не возражать, не прекословить, не отвечать’	<i>смалкивать</i> , <i>смолкать</i> <i>смолкнуть</i> <i>умолкать</i> <i>замолкать</i> <i>примолкать</i> <i>утихать</i> <i>затихать</i> <i>притихать</i>

‘потакать, потворствовать, поноравливать, баловать, глядеть сквозь пальцы, послаблять, давать повадку’	<i>смалчивать, смолчать промолчать</i>
‘перестать издавать звуки’	<i>замолкать затихать занеметь</i>
‘перестать’	<i>замолкать затихать занеметь</i>
‘перестать говорить’	<i>замолкать затихать занеметь</i>

Приставочные глаголы *утихать, стихать, затихать, притихать* зафиксированы в основном в значении ‘успокаиваться, становиться тише, утихомириваться’ и употребляются с единицами, указывающими на явления природы (*шум, ветер, буря, погода; затишье* как ‘отсутствие ветра, шума; штиль, безветрие’), с единицами, обозначающими чувства и эмоции (*волнение, гнев*), боль, беспокойное состояние человека, а также с единицами *молва* (‘общий говор’, ‘громкая, шумная беседа’, ‘слава’, ‘народные толки’), *голос* в значении ‘становиться слабее’. Толкуются данные лексемы через приставочные образования от глагола *молкнуть*. Производные же от глагола *молчать* характеризуют только деятельность человека, например, при толковании единицы *замолчать* уточняется ‘говорится только о речи и голосных звуках’.

В словаре В. И. Даля зафиксировано употребление единиц *намолчать / намалчивать беду* (‘нажить ее молча или молчанием’) и *намолчатся вдоволь*.

5. Идея молчания имеет богатую репрезентацию во всех славянских языках. Общее культурно-историческое прошлое, единый праязык, префиксальность позволяют не только зафиксировать в языках идею молчания как отсутствие шума и речи, но и показать различные компоненты значений, что обуславливает выделение мол-

чания как особой категории в славянской картине мира (см., например, исследование [Петкова-Калева, 2013]).

Сопоставление репрезентантов молчания в славянских языках позволяет сказать, что, во-первых, сохраняют функционирование во всех славянских языках единицы, восходящие к индоевропейскому корню *mьlk-: бел. *маўчанне*, укр. *мовчання*, болг. *мълчание*, чешск. *mšeni*, польск. *milczenie* [Речник, 1998; Словник, 1970–1980; Słownik języka polskiego; Akademický slovník].

То же самое характеризует и единицы, по всей вероятности, связанные с индоевропейским корнем *teis- [ИЭССРЯ]: рус. *тишина*, бел. *цішыня*, укр. *тишина*, болг. *тишина*, серб. *тишина*, хорв. *tišina*, чешск. *ticho*, словац. *ticho*, польск. *cisza*. Единица *тишь* в значении ‘отсутствие шума’ функционирует в восточнославянских языках (бел. *ціш*, укр. *тиша*), в других славянских языках ей соответствуют единицы со значением ‘мир, покой, спокойствие’ (болг. *спокоен*, *спокойствие*; серб. *миран*, *цалм*, *смирен*; хорв. *smiren*, *calm*, *mir*; чешск. *klidný*; польск. *sпокóј cisza*). Единицы *безмолвие*, *бязмоўе*, *безмовність* характеризуют только восточнославянские языки (см. таблицу 2).

Таблица 2

**Функционирование репрезентантов идеи молчания
в современных славянских языках**

Русский	<i>молчание</i>	<i>безмолвие</i>	<i>тишина</i>	<i>тишь</i>
Белорусский	<i>маўчанне</i>	<i>бязмоўе</i>	<i>цішыня</i>	<i>ціш</i>
Украинский	<i>мовчання</i>	<i>безмовність</i> <i>безгомінність</i> <i>безголосся</i>	<i>тиша</i> <i>тишина</i> <i>тиш</i>	<i>тиша</i> <i>тиш</i>
Болгарский	<i>млъчане</i>	<i>млъчане</i> <i>тишина</i>	<i>тишина</i>	<i>спокоен</i> <i>спокойствие</i> <i>calm</i>
Сербский	<i>тишина</i> <i>силенце</i>	<i>тишина</i> <i>силенце</i>	<i>тишина</i> <i>силенце</i>	<i>миран</i> <i>цалм</i> <i>смирен</i>

Хорватский	<i>tišina</i>	<i>tišina šutnja</i>	<i>tišina šutnja</i>	<i>smiren calm mir</i>
Чешский	<i>mlšení</i>	<i>ticho mlšení</i>	<i>ticho</i>	<i>klidný</i>
Словацкий	<i>ticho</i>	<i>ticho</i>	<i>ticho</i>	<i>klidný</i>
Польский	<i>milczenie cisza</i>	<i>milczenie cisza</i>	<i>cisza</i>	<i>spokój cisza</i>

6. Современная репрезентация идеи молчания в русском языке сохраняет тенденцию, обусловленную исторически: *молчание, безмолвие, тишина, тишь, ничто, пустота, пауза*.

Единица *молчать* вбирает в себя компоненты, связанные с отсутствием речевой деятельности ('ничего не говорить, не издавать звуков голосом'), с отсутствием шума ('не нарушать тишины, не производить звуков'), с социальной пассивностью ('не высказывать жалоб, не протестовать, молча сносить что-л'). На значение данной единицы повлияли современные реалии: *молчать* употребляется, когда речь идет о приборах, подающих звуковые сигналы ('не действовать, не работать'), об огнестрельном оружии ('не стрелять'). Сохраняется компонент 'преднамеренное молчание'. *Молчать* могут и чувства, переживания: 'не проявляться, не давать о себе знать' [МАС]. Как мы видим, компонент, связанный с религиозным молчанием, не зафиксирован. В словарях современного русского языка сохраняются единицы *молчальник (молчальница)* как 'монах, отшельник, взявший обет молчания из религиозных соображений', но данный компонент сопровождается пометой «устаревшее», а современное функционирование характеризует компонент 'тот, кто обычно молчит, не любит говорить'. Вообще склонность к молчанию как особенность человека широко представлена в словарях: *молчаливость* – 'неразговорчивость', *молчун* – 'молчаливый, неразговорчивый человек', а *молчаливый* – это не только 'не любящий много говорить, неразговорчивый', но и 'осуществляемый, понимаемый без слов' [МАС], 'выражаемый и понимаемый без слов' [ТСРЯ].

Единица *безмолвие* толкуется через единицу *молчание*, глагол *безмолвствовать* – через глагол *молчать*, но словари современного русского языка уточняют, что в данных единицах заключается значение ‘полная тишина’ [МАС], ‘полное молчание’ [ТСРЯ]: *безмолвствовать* – ‘хранить полное молчание’. Компоненты ‘не нарушать тишины, не производить звуков’, ‘быть исполненным тишины’ позволяют говорить о единицах *молчание*, *безмолвие* и *тишина* как о синонимах: *тишина* – ‘отсутствие звуков, говора, шума’. Сохраняет единица *тишина* и значение ‘душевное спокойствие, умиротворение’. В современном русском языке продолжает функционировать единица *тихость* в своем исконном значении ‘состояние умиротворения, покоя или покорности’. *Тишь* характеризует состояние природы – ‘тихая, безветренная погода’ [МАС].

(26) *Величайшее безмолвие царило окрест. Сдавалось, что всяческое звучание гложет в густой воде и тяжком воздухе пустыни. Паустовский, Кара-Бугаз* [МАС].

(27) *Дремлет чуткий камыш. Тишь – безлюдье вокруг. Н. Никитин, Утро* [там же].

(28) *Гордыней-то ничего не возьмешь, а ежели тихостью, смиренством, ну так... С барином завсегда можно обойтись, потому, барин – он добрый. Эртель, Записки степняка* [там же].

В современном функционировании тенденция к языковой фиксации отдельных компонентов значения сохраняется: значение конкретизируется благодаря приставочным / конфиксальным образованиям от глагола *молчать*:

за – ‘начать действие, названное мотивирующим глаголом’ – *замолчать*;

по – ‘действие, названное мотивирующим глаголом, совершить в течение некоторого времени (чаще недолгого)’ – *помолчать*;

про – ‘действие, названное мотивирующим глаголом, совершить в течение какого-н. времени (чаще длительного)’ – *промолчать*;

с – ‘однократно совершить действие, названное мотивирующим глаголом’ – *смолчать*;

на... ся – ‘действие, названное мотивирующим глаголом, совершить в достаточной степени или избытке’ – *намолчатся*;

от... ся – ‘избавиться, уклониться от кого-чего-н. с помощью действия, названного мотивирующим глаголом’ – *отмолчатся* [РГ 80, с. 355–372].

В современном русском языке расширяется словообразовательная парадигма глагола *молчать*: *промолчать, смолчать, помолчать, умолчать, замолчать, намолчатся, отмолчатся*. Глаголы *отмолчатся, умолчать* и *замолчать* имеют видовую пару – *отмалчиваться, умалчивать, замалчивать* (существительные *умолчание / умалчивание, замалчивание*).

Является ли репрезентация идеи молчания в русской картине мира национально специфичной? Обратимся к фактам других языков.

3.3. Общее и специфичное в структуре категории молчания

Обратимся к языковой репрезентации идеи молчания испанском языке.

В испанской лингвокультуре репрезентация идеи молчания имеет свою историю и свои особенности. Молчание как явление, как феномен репрезентируется в ключевой лексеме *silencio*, а действие, противоположное *говорить*, – *callar*.

Единица *callar* имеет сложную этимологию, восходящую к латинскому *chalāre*, означающему ‘*bajar la voz / понижать голос*’ и греческому *χαλᾶν* – ‘*hacer bajar / делать ниже*’ [Moliner, 2000]. На сложную этимологию и связь с греческим словом *callar*, функционирующим в испанском и португальском языках, указывает Франциско дель Росаль, в его же труде мы находим толкование *callar* как ‘*es cerrar los labios / закрыть рот*’ [Rosal, 1601–1611]. Многие источники говорят о связи *callar* и с латинским глаголом *calleo* [Covarrubias, 1611] с неожиданной семантикой – ‘*иметь жёсткую кожу, быть мозолистым*’, ‘*быть закалённым, набить руку, быть искусным, опытным, знать толк*’. Такое заимствование становится не столь неожиданным, если мы вспомним, что носители латинского языка именно глагол *calleo* употребляли в фразе «*знать, о чем говорить*»

и о чем молчать» – «dicenda tacendaque calles». Недоумение пытается развеять и Diccionario de Real Academia (1739) [DRA, 1739], где не только указывается на связь с латинским словом *calleo*, но и поясняется: ‘callar... viene del verbo Latino *Calleo*, es, que significa ser astúto, porque de ordinário son silenciosos y callados / callar... происходит от латинского глагола *calleo*, что означает *быть изворотливым*, потому что обычно хитрецы молчат’. Таким образом, уже первые толкования анализируемых единиц позволяют сказать, что основная единица, репрезентирующая идею молчания в испанском языке, связана с отсутствием речи, факта говорения, с хитростью, с изворотливостью, с умом (Si calla el nécio, a las veces será tenido por sabio y cuerdo / Если дурак молчит, часто может сойти за умного и здравомыслящего) [DRA, 1739], а умение *молчать* / *смолчать* формируется как одна из коммуникативных стратегий, преследующий прагматический интерес говорящего.

Анализ разных издательств «Словаря Королевской Академии» XVIII, XIX, XX вв. [DRA, 1739, 1780, 1817, 1884, 1925, 1936, 2001] показывает наращение компонентами основного значения глагола *callar* – ‘no hablar, ni dar a entender con la voz cosa alguna / не говорить, не дать понять ничего с помощью голоса’, ‘no expresar alguno con palabras sus pensamientos / не выражать мысли с помощью слов’, ‘disimular no dándose por entendido de lo que oye, o sabe / скрыть, не дать понять, что знаешь или слышишь’, ‘omitir, o pasar en silencio alguna cosa / упустить что-то’, ‘guardar silencio, abstenerse de hablar / храни́ть молчание, воздерживаться от говорения’, ‘cesar de hablar / прекратить говорить’, ‘cesar de llorar, de gritar, de cantar, de tocar un instrumento músico, de meter bulla o ruido / прекратить плакать, кричать, петь, играть на музыкальных инструментах; прекратить шум или переполох’. Все эти компоненты, несомненно, связаны с речью, голосом, звуком, вернее, их отсутствием. Отметим, что в словаре 1780 г. выделяется еще одно значение, связанное с молчанием ветра, моря, реки, с покоем и тишиной в природе (‘hablando del viento, del mar, de los rios, se dice quando va calmando, ó suavizando el ruido que hacian / говорится о ветре, море, реках, когда шум успокаивается

или ослабевает'), сохранившееся и в современном испанском ('dicho del mar, del viento, de un volcán, etc.: dejar de hacer ruido / говорится о море, ветре, вулкане и т. д., когда перестают шуметь') [DRA, 2001].

В словообразовательной парадигме *callar* можем выделить *callando* ('действие в полной тишине, без шума'), *callado*, *callador* ('тот, кто делает кое-что без шума'), *callada* ('результат от *callar*') [Zerolo, 1985, с. 477]. Энциклопедический словарь испанского языка обозначает единицей *callado* человека не просто молчаливого по своему складу, но и сдержанного, осмотрительного, осторожного, себе на уме, чем указывает на сохранение компонента 'хитрый, изворотливый' к XIX веку [Diccionario Enciclopédico, 1853, с. 444].

Как мы можем видеть, единица *callar* в своем значении не содержит одного компонента, характеризующего русские репрезентанты молчания, – молчание как часть христианского мироощущения, как сознательный выбор образа жизни, молчание как путь к познанию Бога. Эти значения в испанской лингвокультуре исторически репрезентировались лексемой *silencio*.

Diccionario de Real Academia прямо указывает на происхождение слова *silencio* от латинского *silentium*. В средневековых словарях толкование данной единицы отсутствует, указывается лишь ее заимствование из латинского языка [Vittori, 1609]. Себастьян де Коваррубиас пишет, что *silencio* обозначает то же, что и лат. *taciturnitas*, 'молчаливость, сдержанность, скромность', которые символизируются языческим богом молчания Гарпократом, изображавшимся с пальцем, приложенным к губам [Covarrubias, 1611]. О том, что единица *silencio* отражает молчание, которое формировалась еще в античную эпоху под влиянием античной культуры, говорит и толкование данной единицы в «Словаре кастильского языка с терминами науки и искусства и их соответствиями в трех языках: французском, латинском и итальянском»: *silencio* – в латинском языке 'противоположное шуму, галдежу, крику, беспорядкам и смуте, говорению', *silenciario* – 'говорится о скрытом уединенном месте, где нет шума; о тех, кто хранит молчание, молчалив'.

Исконное значение, связанное со сдержанностью, отказом от речи, с языческой культурой молчания, обуславливает тот факт, что именно единица *silencio* в католицизме начинает обозначать обет молчания. В «Словаре Королевской Академии» (1739 г.) первым, а значит, основным указывается значение *silencio* – ‘privacion voluntaria de hablar / добровольное лишение речи’, ‘santo silencio / святое молчание’. Помимо этого компонента, выделяются и другие: ‘metaphoricamente vale la quietud ó sosiego de los lugares, en donde no hay ruido / метафорически о спокойствии и тишине в местах, где отсутствует шум’, ‘imponer silencio: prohibir el que se controvierta alguna question, ó se hable en alguna diferencia, ó pléito / установить молчание: запрещать оспаривать какие-л. вопросы; говорится о разногласии или о тяжбах, раздорах’ [DRA, 1739].

В самых ранних редакциях словаря видно, как наращивается значение лексемы компонентами, например, ‘entregar alguna cosa al silencio. Olvidarla, callarla, no hacer mas mencion de ella / предавать что-л. молчанию. Забыть об этом, молчать об этом, не упоминать’ [DRA, 1817], но неизменным и основным на протяжении всего XVIII и XIX вв. остается значение ‘privacion voluntaria de hablar, ó que no procede de impedimento físico / добровольный отказ от речи’. В редакции 1884 г. основными становятся значения ‘abstención de hablar / воздержание от речи’, ‘falta de ruido / отсутствие шума’, ‘efecto de no hablar por escrito / не писать, ‘el silencio de los historiadores contemporáneos / молчание историков-современников’.

Анализ словарных статей позволяет зафиксировать процессы трансформации значения, схожие с русской лингвокультурой: уходят на периферию компоненты, связанные с молчанием как христианской ценностью, как частью христианского мировоззрения. Зато появляются другие, связанные с жизнью социума, например, ‘el silencio de la ley / молчание закона’. Особенно это выражено в XX в.: ‘el silencio – sin protestar, sin quejarse / не протестовать, не жаловаться’ [DRA, 1925], ‘desestimación o recurso por el mero vencimiento del plazo que la administración pública tiene para resolver / ресурс, используемый администрацией в связи с истечением срока, данного

для принятия решения' [DRA, 1936]. *Silencioso* называют того, кто много молчит, имеет привычку молчать [Salvá, 1844, с. 999].

Таким образом, в испанской лингвокультуре идея молчания передается с помощью двух единиц – глагола, обозначающего действие, противоположное говорению, *callar*, возникшего под воздействием латинского и греческого языков и употребляемого в испанском и португальском языках, и существительного *silencio*, функционирующего со значением латинской единицы. В католицизме *silencio* приобретает значение 'святое молчание, добровольный отказ от молчания', которое впоследствии утрачивается. Кстати, подобный процесс, когда употребление латинизма *silencio* связано с христианскими практиками, характеризует не только испанский язык. И. Срезневский, давая толкование единицы *безмолвие*, пишет, что это «то же, что и *silencio*» [МСДРЯ]. *Silence* функционирует и в словенском языке, наряду с исконными *molk*, *tišina*. В сербском языке различаются *силенце* и *тишина*.

В современном испанском языке функционируют единицы *callar*, *silencio*, *silenciar* и их производные. Сравним основные значения единиц [Moliner, 2000] (см. таблицу 3).

Как мы видим, современный глагол *callar* указывает на отсутствие речевой деятельности, фиксирует момент перехода к молчанию, тишине, связан с контролем над актом говорения. Это подтверждают и комментарии «Словаря употребления испанского языка» [Moliner, 2000], где говорится, что единица *callar/se* употребляется в случае воздержания от речи или прекращения ее. Существительное *silencio* указывает на состояние без шума, говорения – состояние тишины. В словаре зафиксированы и выражения типа *Silencio administrativo*, когда говорится о порядке отказа в удовлетворении просьбы или жалобы в связи с окончанием срока принятия решения администрацией; *Imponer silencio*, связанное с прекращением или подавлением протестных настроений.

В испанском языке единицы, фиксирующие молчание, имеют и компонент 'молчание умышленное', с целью скрыть, утаить – *si-*

lenciar, callar/se, guardar silencio ('хранить молчание'), *pasar en silencio* ('молчать намеренно').

Помимо этих единиц, функционируют в современном испанском языке и единицы *silenciar* (= *silenciero*), то есть 'тот, кто хранит молчание, в том числе в церкви', *silencioso* – 'тихий', о человеке, предметах, месте и т. д., *callado* (= *callador*) – 'тот, кто молчит', *callada* – действие и результат от глагола *callar*, 'интервал, спокойствие между порывами ветра или сильными волнами', 'молчаливый ответ' [DRA, 2012].

Таблица 3

Сравнение значений единиц молчания в испанском языке

Callar	Silencio	Silenciar
1) no hablar / не говорить; 2) no decir cierta cosa / не говорить что-то; 3) menos frec., prnl. dejar de cantar, de gritar, de sonar, etc. / реже: прекращать петь, кричать, звучать и т. д.; 4) aguantarse: no replicar, no protestar, etc. / сдерживаться: не отвечать, не протестовать.	1) circunstancia de no haber ningún sonido en un sitio o en un momento / отсутствие звучания в определенном месте или в определенный момент; 2) circunstancia de no hablar las personas / отсутствие речи; 3) circunstancia de no hablar de cierta cosa / ситуация, когда не говорят что-то. 4) mús. pausa / муз. пауза	1) guardar deliberadamente silencio sobre cierta cosa / хранить молчание умышленно о чем-л. явном

8. Сопоставление основных значений репрезентантов молчания в русском и испанском языках позволят выявить общее и специфичное.

В испанском языке единицы, отображающие идею молчания, заимствованы из латинского и древнегреческого языков с их исконным значением, складывающимся под воздействием языческой, а не христианской религиозно-философской системы. Примечателен тот факт, что единица *silencio*, выражающая впоследствии святое молчание, соотносилась с богом Гарпократом, символизирующим молчание как сдержанность от болтливости, воздержания от речевой деятель-

ности в прагматических целях. Именно прагматика молчания и характеризует основное употребление единиц. Если *callar* обозначает действие, то *silencio* – состояние.

В русском языке идея молчания реализуется с помощью единиц, восходящих к индоевропейским корням **mylk* и **teis-*, сохраняющим свое функционирование во всех славянских языках. Связанные с корнем **mylk* единицы *молчать* и *молкнуть* характеризуют отсутствие речевой деятельности, причем *молчать* указывает на процессуальное действие, а *молкнуть* – на фиксацию момента перехода от речи к ее отсутствию. Влияние старославянского языка, христианской системы ценностей обусловили тот факт, что молчание как возможный диалог с Богом сопряжено с отказом от суеты, пустых волнений, эмоций, то есть с безмолвием.

Как в испанской лингвокультуре, так и в русской, язык фиксирует влияние христианства на становление молчания как культурного и коммуникативного феномена. И в том, и в другом языке, помимо молчания прагматического, отражено молчание святое как добровольный отказ от речи, как религиозный ритуал, как возможный путь к познанию Бога. Впоследствии данный компонент уходит на периферию значений единиц либо исчезает полностью.

Анализ словарных значений репрезентантов в русской лингвокультуре позволяет сказать о развитии молчания как отсутствию речевой деятельности (прагматическое молчание) и молчания как некой духовной практики. Последнее сближает единицы *млъчати* и *безмълвьствовати*: *млъчати* как некая ступень к *безмълвию*, душевному успокоению, кротости, и, как следствие, к *тишине*, состоянию благодати. Данное молчание находит свое особое место в русской культуре. Со временем оно перестает быть только ритуальным, становится больше ритуала – частью русской культуры. Так, идея молчания лежит в основе русской иконописи – молчаливой живописи, где молчание граничит с созерцанием, молитвенным актом, направленным на постижение смысла бытия (см., например, [Булгаков, 1991; Гаврюшина, 1993; Трубецкой, 1991; Успенский, 1999]). Такое молчание – это не просто отказ от говорения, это глубокое самопо-

гружение, «духовная работа, созидание внутреннего человека» [Грек, 1994; Гриненко, 2000; Языкова, 1995 и др.].

С молчанием как некой духовной практикой связана и философия юродства, которая перерастает идею аскетизма, характеризующую и западную католическую культуру. Молчание юродивого – это своеобразная автокоммуникация [Лотман, 1973], это, несомненно, путь познания Бога, смысла бытия, но познания через себя. Молчание юродивого – это «речь-молитва, обращенная к себе и к богу. Она имеет прямое отношение к пассивной стороне юродства, то есть к самопознанию и самосовершенствованию» [Панченко, 1984, с. 95].

Именно такое молчание, нацеленное на познание себя, бытия, Бога, граничащее с умением созерцать, ‘вникать во что-либо мысленно, разумомъ, духомъ’ [СД], становится несомненной ценностью русской культуры, частью русского мировосприятия и обуславливает репрезентацию молчания в русском языке. Речь идет не только о единицах, реализующих компонент ‘ритуальное молчание’, но и об основных репрезентантах идеи молчания в целом: для русской культуры важно разделить молчание как отказ от речи, безмолвие как отказ от мирской суеты и тишину как достигнутое состояние благодати.

Впоследствии молчание как религиозный акт уходит на периферию значения, но умение созерцать, молчать с целью самопогружения, самопознания обуславливает компоненты, связанные с немногословием, неразговорчивостью как склонностью человека, с одной стороны, с другой – со способностью выражать и понимать без слов как особенностью русского коммуникативного поведения. Молчание как религиозный ритуал трансформируется в молчание как духовную практику, направленную на совершенствование души, как автокоммуникацию, где адресант и адресат – сам человек, а цель воздействия – качественное изменение внутреннего Я, согласие с самим собой.

Молчание как диалог с самим собой обуславливает и актуализацию компонента, связанного с выражением чувств, переживаний, – внутреннего Я. Отметим, что данный компонент отсутствует в испанской языковой репрезентации.

Исторически единица *молчание* семантически более узка по сравнению с единицей *тишина*. *Тишина* – это отсутствие звуков вообще, *молчание* – отсутствие речи. *Тишина* – состояние и человека, и природы, и окружающего мира. *Молчание* в основном изначально характеризует человека. Религиозно-духовная практика, отражающаяся в парадигме *молчание – безмолвие – тишина*, повлияла на современное функционирование, сделало его более сложным, обусловило употребление слов *безмолвие* в значении ‘полное молчание’, ‘полная тишина’, а слов *тишь, затишье* – ‘спокойствие в мире природы’, слова *тихость* – ‘кротость, покой в душе’.

Репрезентация идеи молчания в русском и испанском языках характеризуется как общим, так и специфическим. Общими являются компоненты, связанные с отсутствием речевой деятельности, звуков, шума, с отсутствием жалоб и протестов, с отсутствием ответа, в том числе письменного; и в русском языке, и в испанском выражен компонент, связанный с преднамеренным, умышленным, молчанием. До XX века на значения анализируемых единиц оказывают влияние католицизм и православие, что отражается в компонентах значения, связанных с добровольным отказом от речи, с названием лиц, отказавшихся от речи, мест, способствующих святому молчанию. В XX веке данные компоненты уходят на периферию значения либо вообще не фиксируются словарями, в то же время актуализируются компоненты, связанные со склонностью человека к молчанию. И в русском, и в испанском языках выделен компонент, связанный с контролем человека над своей речевой деятельностью. Можно сказать, что общим является то, что характеризует молчание прагматическое.

Специфичным для русского языка является большое количество единиц, репрезентирующих молчание как духовную практику, указывающих не только на факт добровольного отказа от речи как некоего церковного ритуала (как, например, *silencio*), но и на молчание как на отшельнический образ жизни, как состояние человека, связанного с духовной созерцательностью, молитвенным состоянием духа (*мльчание*), с успокоением, душевной гармонией, душевным

состоянием благости (*тишина, тихота*, совр. рус. – *тихость*). Для русской лингвокультуры является релевантным и молчание чувств, эмоций, волнений. Помимо компонента ‘молчаливость как склонность человека к молчанию’, есть компонент, отсутствующий в испанской лингвокультуре, – ‘выражаемый / осуществляемый и понимаемый без слов’, указывающий на широкую возможность интерпретации в русской молчаливой коммуникативной культуре.

Отметим и расширенное количество компонентов, связанных с преднамеренным молчанием, где важным моментом является недосказанность, то есть частичное молчание, неупоминание, либо полное молчание.

В русской лингвокультуре отсутствуют компоненты, зафиксированные в испанском языке, связанные с молчанием закона, правительства, истории, с социальной пассивностью.

Релевантными, как следствие, приобретающими свою собственную языковую фиксацию, для русского языка становятся следующие компоненты:

– преднамеренное, умышленное молчание (*умалчивать / умолчать, умолчание; замалчивать / замолчать, замалчивание; промолчать*);

– момент наступления молчания (*умолкать / умолкнуть, смолкать / смолкнуть, замолкать / замолкнуть, замолчать*);

– сдержанность коммуникантов в речевой деятельности (*смолчать, промолчать*);

– контроль коммуникантов над своей речевой деятельностью, воздержание от ответа, подавление эмоций (*смолчать*);

– отсутствие ответа (*промолчать, смолчать*);

– продолжительность молчания (*помолчать, промолчать, намолчаться*);

– склонность к молчанию (*молчаливость, молчаливый*);

– носитель признака (*молчун*).

Богатая языковая фиксация молчаливого коммуникативного поведения стала возможна благодаря развитой префиксации в русском языке.

Репрезентанты в русском языке могут указывать как на поведение говорящего (*замолчать, помолчать, умолчать, замолчать*), так и на поведение слушающего (*смолчать, промолчать, помолчать*).

И в русском, и в испанском языках молчание развивается как элемент красноречия, риторическое молчание.

3.4. Функционирование глаголов молчания в русском языке

Идея связать семантику глаголов молчания со стоящими за ней особенностями лингвокультуры уже прорабатывалась в лингвистике. Так, Дж. Версейрен [Verscheuren, 1999], анализируя значения глаголов речи и ее отсутствия, выделяет различные типы коммуникативного поведения.

Определим поведение молчащего коммуниканта как молчаливое коммуникативное поведение (*молчаливый* – (2) ‘выражаемый и понимаемый без слов’ [ТСРЯ]). Анализ функционирования глаголов молчания позволяет описать различные коммуникативные действия молчащего, а также ответить на вопрос, насколько богаты ресурсы языка, для того чтобы наиболее полно и адекватно описать молчаливое коммуникативное поведение, в том числе его релевантные признаки, обусловленные лингвокультурой.

Процесс приема молчания вместо ожидаемого ответа обозначим как рецепцию. Само по себе понятие рецепции (от лат. *reception* – принятие, прием) связано с восприятием и трансформацией сигнала (знака). В различных гуманитарных науках рецепция толкуется через единицы *освоение, заимствование, воспроизведение*. В теории обучения языкам под рецепцией понимается прием сообщения [Азимов, Щукин, 2010]. Все это позволило И. А. Стернину выделить особый вид коммуникативного поведения, связанного с «адекватным пониманием вербальных и невербальных действий собеседников, принадлежащих к определенной национальной, возрастной и т. д.

группе», – рецептивное коммуникативное поведение [Лемяскина, Стернин, 2000, с. 11, 33–34].

Анализ глаголов молчания и их функционирования в текстах позволит описать особенности как инициативного молчаливого коммуникативного поведения субъекта, так и рецептивного.

1. В русском языке, помимо глагола *молчать*, функционируют единицы *смолчать*, *помолчать*, *промолчать*, *умолчать*, *замолчать*, *намолчатся*, *отмолчатся*, позволяющие обозначить различные нюансы в коммуникативном поведении молчащего.

Ср.:

(1) *Петрович замолчал, видно вылив самое горькое. Он помолчал, а потом спросил, поднимая на Корытина по-детски недоуменный взгляд* (Б. П. Екимов. Пиночет).

Коммуникативное поведение Петровича в данном примере абсолютно понятно носителям русской лингвокультуры. Петрович перестал говорить, затем, через небольшой промежуток времени, спросил.

(2) *Я ее встретил на Птичьем рынке. А знаете, что она там делала? – Я сделал длинную паузу, чтобы – окончательно поразить дядю Шуру: – Она искала собаку... породы чау-чау для своей дочери!*

Тут я замолчал и молчал долго-долго, но все-таки перемолчать дядю Шуру не смог. Известно, у него редкая выдержка (В. Железников. Жизнь и приключения чудака)¹.

Герой рассказа В. Железникова замолчал, то есть перестал говорить, долгое время пребывал в состоянии молчания, тем не менее не смог молчать так же долго, как и дядя Шура, заговорил первым. За производными глаголами, благодаря префиксам, закрепляются определенные значения, сужающие, конкретизирующие значение глагола *молчать*.

¹ Примеры в данном параграфе взяты из информационно-справочной системы «Национальный корпус русского языка» [<https://ruscorpora.ru>].

Рассмотрим особенности функционирования данных глаголов.

Глагол *молчат* характеризуется как отказ от речевой деятельности в целом, различные аспекты молчаливого коммуникативного поведения, так и отсутствие шума, звуков. Выделенные словарями компоненты значения обуславливают широкое контекстуальное употребление данной единицы:

1. 'Ничего не говорить, не издавать звуков голосом', 'Не высказывать жалоб, не протестовать, молча сносить что-либо'. 2. 'Не нарушать тишины, не произносить звуков', 'Не действовать, не работать (о приборах, подающих звуковые сигналы)'. 3. 'Не рассказывать, не говорить о чем-, ком-л., хранить в тайне что-л.', 'Не высказывать открыто своего мнения, обходить молчанием что-л.' [МАС] / 'Соблюдать что-н. в тайне, не рассказывать о чем-н., не высказываться' [ТСРЯ], 'Не писать писем, не отвечать на них'. 4. 'Перен. Не проявляться, не давать о себе знать (о чувствах, переживаниях и т. п.)' [МАС]. Синоним *безмолвствовать*. Словари прямо указывают: «безмолвствовать – то же, что молчать (в 1 знач.)», подчеркивая ограниченность в употреблении – *книжн.* Однако сопоставление контекстов позволяют выявить отличия в функционировании данных единиц.

Глагол *безмолвствовать* характеризует субъектно-объектный тип общения, подчеркивает социальный статус либо власть имущих со специально избранной стратегией поведения, либо угнетенных, их вынужденное коммуникативное поведение. Вспомним, у С. Довлатова: «*Печать на устах. Кляп во рту. Амбарный замок на губе. Десятилетия мы безмолвствовали. Раскланивались с негодьями. Улыбались стукачам. Мирились с любыми гнусностями* (С. Довлатов. Марш одиноких). Подобных примеров много как в художественной литературе, так и публицистике:

(3) *А избиратели лишены возможности даже путем референдума высказать свое мнение об итогах работы такого горе-руководителя или досрочно отозвать его с выборного поста. Народу предоставлено только одно право: безмолвствовать!!!* (Б. А. Макаров. Голос в тумане (2003) // «Советская Россия», 2003.08.15).

(4) *Правоохранительные органы **безмолвствовали** два месяца, пока Совет Федерации РФ не потребовал от МВД проверить факты, изложенные в одной из газетных публикаций (Зачем Петр Латышев нужен УрФО? – журналистское расследование // Новый регион 2, 2006.05.29).*

Глагол *безмолвствовать* указывает и на молчаливое поведение, вызванное сильными чувствами, эмоциями, чаще всего, изумления, удивления, страха, возвышенными чувствами, когда человек не может *вымолвить ни слова*, когда *дух захватывает*:

(5) *Порой он ценил, объяснял, плодил мысль автора, но порой, когда бывал тронут глубоко, тихие слёзы катились по лицу его, книга скользила из рук, и мы долго **безмолвствовали, проникнутые каким-то неизъяснимо полным ощущением высокого, изящного** (Е. Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона).*

(6) *Туристы, толпой окружавшие газетчика, большей частью **безмолвствовали, потрясенные открывающимся видом**, и только некоторые от избытка чувств издавали возгласы типа: «Ах, красота какая!» и «Боже, какое чудо!» (В. Аграновский. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике).*

(7) *Как отмечено Б. П. Городецким, в описании события у Карамзина совмещаются в одной фразе обе возможности пушкинского финала: «Тысячи воскликнули, и рязанцы первые: «да здравствует же отец наш, государь Димитрий Иоаннович!». Другие еще **безмолвствовали в изумлении**» (С. Г. Бочаров. О возможном сюжете: «Евгений Онегин»).*

Глагол *безмолвствовать* подчеркивает и тишину природы, ее безразличие к миру человека:

(8) *В растерянности я заметался от пропасти к Чертову пальцу, от Чертова пальца к расщелине, и снова к пропасти, и снова к Чертову пальцу. **Но горы безмолвствовали...** (Ю. М. Нагибин. Эхо).*

Промолчать / помолчать / смолчать. Данные единицы характеризуют коммуникативное поведение русскоговорящих в диалоге (*промолчать, помолчать, смолчать*) и монологе (*помолчать*). Словарные статьи указывают на их некую избыточность, так как

семантические поля единиц пересекаются: глаголы *промолчать* и *помолчать* указывают на молчание в течение определенного временного отрезка; *промолчать* и *смолчать* – на отсутствие ответной реакции. Ср., *промолчать* – «1. Не ответить, ничего не сказать. 2. Молчать в течение какого-л. времени»; *помолчать* – «Молчать некоторое время»; *смолчать* – «Воздержаться от возражения, от ответа на обиду, оскорбление и т. п. || Разг. Промолчать» [МАС].

Обращение к контекстам позволяет охарактеризовать коммуникативное поведение, обозначенное глаголами *промолчать*, *смолчать*, *помолчать*, как различное, обусловленное определенными коммуникативными ситуациями.

Единицей *промолчать* может быть охарактеризовано молчание как говорящего, так и слушающего. Компонент значения ‘не ответить, ничего не сказать’ характеризует коммуникативное поведение слушающего, при этом молчание замещает собой ожидаемую вербальную реакцию.

(9) – *Ну что, молодой человек? Поняли, наконец, что к чему? И как вы думаете, стоит вам ходить туда после этого? // Я промолчал. Он пожал плечами, повернулся и ушёл* (В. Белоусова. Второй выстрел).

Отметим и осознанность выбора единицы *промолчать* как репрезентанта коммуникативного хода: «я, *разумеется, промолчал*», «(он) что-то почуял во взгляде и в голосе своей собеседницы, *что-то понял и промолчал*» (Б. П. Екимов. Пиночет).

Ход, обозначенный единицей *промолчать* коммуниканты (и адресант, и адресат) рассматривают как возможность уйти от невежливого, грубого поведения, нарушающего морально-этические или коммуникативные нормы, принятые тем или иным обществом, или поведения, некомфортного для собеседника.

(10) *Я обязан быть снисходительным с нею. Я промолчал.* (И. С. Тургенев. Ася).

(11) *С подаренным арбузом в руке говорить о долге было как-то неудобно, и я промолчал* (Ф. Искандер. Должники).

Глагол *не промолчать* в русской коммуникативной культуре оценивается носителями как некая демонстративная, нарушающая принятую норму, вызывающая чувство дискомфорта линия поведения.

(12) *Когда свекольного цвета комочек упал с тарелки на клавиши пианино, хозяин не стал изображать из себя воспитанного по Чехову интеллигента, не промолчал, а обратил внимание супруги на допущенный гостем ляпсус, и та устранила непорядок, ободряюще улыбнувшись Андрею* (А. Азольский. Лопушок).

Нарушение вежливого поведения, вызванного тем, что коммуникант не промолчал, как правило, вызывает негативную ответную реакцию. Контексты подчеркивают общепринятый характер *промолчать* как нормы: «*все промолчали, а он один...*», «*другой промолчал бы, а ты*» и т. д.

(13) *...разве можно так / в конце концов другой бы просто промолчал / ничего не сказал...* (О. Б. Сиротина. Беседы с О. Б. Сиротиной).

Глагол *не промолчать* часто употребляется в значении «*не сдержался, распустил язык, проболтался*».

(14) *Скварыш припомнил ночную передачу «Свободы» и с несвойственной ему горячностью пересказал ее. Конечно, все из-за коньяка и парилки, иначе он бы, скорее всего, промолчал* (В. Быков. Бедные люди).

Контексты употребления позволяют нам выявить обусловленность выбора данного коммуникативного хода или линии коммуникативного поведения.

Бессмысленность акта говорения:

(15) *Я хотел сказать, что тоже буду счастлив от них избавиться, но промолчал. Что значило мое мнение против мнения пятнадцати образцовых акульих любимцев? Вместо протестов и объяснений я незаметно рассматривал обстановку* (Мариам Петросян. Дом, в котором...).

Ответная реакция на риторический вопрос:

(16) – *А разве отличнику и комсомольцу драться полагается?* Щупленков *промолчал* (А. А. Бек. В последний час).

Уход от ответа, нежелание говорить:

(17) – *А на винтовке, между прочим, найдены его отпечатки пальцев.*

Я промолчал.

– *Не хотите говорить?* (А. Приставкин. Вагончик мой дальний).

Попытка утаить, скрыть информацию:

(18) *Утром про ночное происшествие он, естественно, промолчал* (А. Слаповский. Большая Книга Перемен).

(19) *Он промолчал, храня военную тайну* (Б. Кенжеев. Из Книги счастья).

Незнание, невладение информацией:

(20) *Человека этот простейший вопрос поставил в тупик. Он промолчал* (А. Слаповский. Синдром Феникса).

Несогласие:

(21) *Я подумал, что это еще ничего не доказывает, хотя выглядит, действительно, странно – но, разумеется, промолчал* (В. Белоусова. Второй выстрел).

Коммуникативное поведение адресата, обозначенное единицей *промолчать*, может быть обусловлено определенными эмоциями, чувствами. Как правило, это трусость, неловкость, стыд, удивление, изумление.

(22) *Но ему было, наверное, стыдно сознаться, что он отрекся от своей веры, и он промолчал...* (А. Рыбаков. Тяжелый песок).

(23) *<...> говорить о долге было как-то неудобно, и я промолчал* (Ф. Искандер. Должники).

(24) *Ты что, действительно, в него стрелял? Бригадир изумленно промолчал* (Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей).

(25) *На суде он трусливо промолчал, что создал диверсионную группу из множества предателей Родины на этом заводе* (Б. Кенжеев. Из Книги счастья).

Данное поведение может сопровождаться невербальными средствами общения, которые позволяют максимально адекватно интерпретировать молчание коммуникантов.

(26) **Сцепив зубы, он промолчал** (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы).

(27) **Я промолчал и невольно отвел глаза** (В. Г. Короленко. Мороз).

(28) **Вымученно усмехнувшись, он промолчал** (Ю. Давыдов. Синие тюльпаны).

Употребление единицы *промолчать* характеризует говорящего, когда он хочет скрыть истинные намерения, помыслы, мысли. В отличие от молчания адресата, молчание говорящего является инициированным. В этом случае коммуникация просто не имеет место быть либо истинное намерение скрыто, подменено ложным.

(29) **Чуть не сорвалось с языка, что тоска по Лиде смягчит-ся со временем, но разумно промолчал, а вслух повторил: – Нельзя тебе одному быть!** (Д. Рубина. Окна).

Коммуникативное поведение, характеризующееся как *промолчать*, достаточно адекватно интерпретируется собеседником. Инициатор молчания априори уверен в том, что будет понят.

(30) **Саша промолчал – так, чтоб Матвей понял, что он ждал иного ответа** (З. Прилепин. Санька).

(31) **Георгий промолчал. По его молчанию и неловко застывшей фигуре было ясно, что смысл предложения Ренаты он вполне понял** (А. Слаповский. Синдром Феникса).

Близкой по значению к глаголу *промолчать* является единица *смолчать*. Контексты употребления позволяют определить их как взаимозаменяемые синонимы:

(32) **Писатель смолчал** (= промолчал), *потому что и это была правда* (Ю. О. Домбровский. Ручка, ножка, огуречик).

(33) **Он подумал: «Ну, какой я мужчина, настоящий мужчина не смолчал** (= не промолчал бы) *бы после отстранения Чепыжина»* (В. Гроссман. Жизнь и судьба).

В основном мы можем говорить о полной синонимии, когда данные единицы употребляются в значении ‘не ответить, ничего не сказать’. Однако, как показал контекстуальный анализ, единица *смолчать* имеет и свою определенную, свойственную именно ей, коннотацию –

‘избежать негативной ответной реакции’, ‘не ответить на обиду, оскорбление, критику’, ‘воздержаться от спора, конфликтного диалога’. Данное значение зафиксировано словарями («воздержаться от возражения, обиды, оскорбления» [МАС]). Интерпретация молчаливого поведения, обозначенного как *смолчать*, указывает и на сдержанность, умение держать себя в руках, контролировать эмоции в русском коммуникативном поведении.

(34) *В ответ на слова историка: станьте сейчас же к стенке; вы не умеете себя прилично вести, – я смолчал* (Г. А. Газданов. Вечер у Клэр).

(35) *Непонятно, почему всё это меня так сильно задевало, ещё вчера я бы только хихикнул и смолчал, а сегодня вот ругаюсь, кричу* (В. Аксенов. Пора, мой друг, пора).

Таким образом, единица *промолчать* обладает более общим значением по отношению к единице *смолчать*. На это указывает и частотность употребления глаголов. В Национальном корпусе русского языка зафиксировано 2059 контекстов со словоформами *промолчать* и только лишь 354 – *смолчать*. Играет роль здесь и стилистический фактор: употребление глагола *смолчать* воспринимается как разговорное.

Единица *помолчать* может рассматриваться как антоним к глаголу *промолчать* по значению (2). Производные от глагола «молчать» под влиянием значений префиксов сужают свое значение:

ПО + НСВ – ‘действие кратковременное, длящееся определенный отрезок времени’;

ПРО + НСВ – ‘действие долговременное, длящееся определенный отрезок времени’.

Ср.:

(36) *Мысль, которая открылась мне в это мгновение, так меня поразила, что я весь остаток вечера промолчал...* (Ф. Искандер. Письмо).

(37) *Лизавета секунду помолчала и заметалась по квартире* (Е. Козырева. Дамская охота).

Контексты подчеркивают значение префикса: *помолчать чуть, чуть-чуть, немного, секунду, ответила не сразу.*

(38) *Ольга помолчала, наверняка спешно соображая, кто же он такой, и непозволительно нескоро отозвалась...* (Н. Леонов, А. Макеев. Эхо дефолта).

(39) *Валя захлопнула рот, помолчала мгновение и уже другим тоном ответила...* (Д. Донцова. Микстура от косоглазия).

(40) *Толпа немного помолчала, потом помялась, потом понялась* (А. Трушкин. 208 избранных страниц).

Благодаря контекстам употребления, мы можем выявить обусловленность поведения коммуниканта, характеризующегося русской единицей *помолчать*. Кратковременная пауза берется коммуникантами для того, чтобы собраться с мыслями, обдумать, проанализировать услышанное, выбрать наиболее оптимальный коммуникативный ход, вспомнить. Значение единицы *помолчать* связано с мыслительной деятельностью коммуниканта:

Помолчала, будто обдумывала нечто важное <...>;

Она задумалась, помолчала <...>;

Помолчала, обглядывая последнюю фразу <...>;

Помолчала, наверняка спешно соображая, кто он <...>;

Нонна помолчала, подумала, подулась и попросила <...>;

Она помолчала, интригуя <...>;

Помолчала, собираясь с мыслями <...>;

Помолчала, как будто не сразу поняла, о чем речь <...>;

Помолчала, словно перебирая в памяти и др.

Вынужденная пауза может указывать на эмоции и чувства, переполняющие человека:

С горечью помолчала <...>;

Помолчала нервно <...>;

Разочарованно помолчала <...>;

Участливо помолчала <...> и др.

Данная единица употребляется участниками коммуникации, и когда коммуникант возвращается к общению, часто при этом сменяя линию поведения: *помолчала и вдруг жестко добавила; разо-*

чарованно *помолчала*, *потом шепнула*; *задумалась*, *помолчала*, *потом спросила*; *помолчала*, *подняла на него глаза и тихо проговорила*; (*Валя*) *захлопнула рот, помолчала мгновение и уже другим тоном ответила*; (*она*) *поперхнулась, помолчала, потом сказала более спокойно* и др.

Особенности употребления единицы *помолчать* как паузы для обдумывания своего коммуникативного хода подчеркивается и определенной жестикულიцией, обладающей подобным значением в русской коммуникативной культуре: *помолчала <...> трогательно наморщила лоб*; *помолчала нервно, теребя щеку*; *помолчала, сдвинув брови* и т. д.

Отмалчиваться / отмолчаться. Данные глаголы употребляются в значении ‘уклониться от ответа, отделаться молчанием’, которое в контекстах конкретизируется, расширяется. Подобно глаголам *смолчать*, *промолчать*, они указывают на контроль субъекта над своей речевой деятельностью, фиксирует в языке следующие коммуникативные действия:

— уход от коммуникации, нежелание говорить:

(41) *Время пасмурное... Бывают дни, когда я даже не знаю, говорить ли мне или лучше помолчать. Сидеть молчуном или болтуном. Отмолчаться – или превратить свое молчание в поступок* (Время под названием «Руины» (2003) // «Театральная жизнь», 2003.07.28);

— нежелание говорить, боясь обидеть, огорчить, вызвать негативные эмоции у собеседника:

(42) *Ты что думаешь, мне самому по душе все это гробить? – Тогда – деньги есть! – с некоторой торжественностью произнесла Лариса, одновременно чисто по-женски оценивая произведенный эффект. Эффект, впрочем, не был оглушительным: Коломнин, боясь ее обидеть, отмолчался* (С. Данилюк. Бизнес-класс);

— скрывать информацию, хранить в тайне:

(43) *Сашка поблагодарил, а на вопрос отмолчался – незачем лейтенанту раньше времени знать, все у него впереди. и обгорит,*

и наголодуется, и в грязи изваляется (Ю. М. Нагибин. Когда погас фейерверк);

– не ответить на обиду, на оскорбления:

(44) *Меня встретили хохотом и криком: «Расскажи, как ты ходил на свидание!». Я **отмолчался**. Уже тогда я умел отвечать молчанием на обиду* (И. Шамякин. Некрасивая // «Огонек», 1961);

– игнорировать; употребляется, характеризуя деятельность органов, правительства, общества, СМИ (*Советские «Известия» и «Голос солдата» отмолчались на тему шпионажа <...>; Газеты вопреки обыкновению отмолчались <...> и др.*):

(45) *Премьера. До заката советской власти было далеко, печать **отмолчалась**, отзывы были только устными. Ну, конечно, и букетно-цветочными. И, конечно, хлопали в зале громко. Но громче хлопнул выстрел по радио: ночью премьеру горячо похвалили по «Голосу Америки» и по «Би-би-си»* (В. Смехов. Театр моей памяти).

В отличие от глаголов *смолчать*, *промолчать*, единица *отмолчаться* фиксирует не отдельное коммуникативное действие, а характерную коммуникативную реакцию на тот или иной стимул. Часто в контексте подчеркивается длительность периода (эпоха, время, возрастной период, временное событие). Так, в примере (44) подчеркивается временной отрезок тогда, в школьные годы, в молодости. В примере (46) герой отмалчивался на протяжении всего ужина, на все попытки подтрунить над идеями материализма.

(46) *Висленев попробовал было подтрунить над материализмом дяди, но тот **отмолчался**, тронул он было теткинину религиозность, посмеявшись, что она не ест раков, боясь греха, но Катерина Астафьевна спокойно ответила <...>* (Н. С. Лесков. На ножах).

Глагол *отмолчаться* имеет форму и несовершенного вида – *отмалчиваться*.

Намолчаться. Глагол *намолчаться* обозначает ‘вдоволь, долго помолчать’, в словарях зафиксирован с пометой *разг.* [MAC].

(47) *Дванов взял копильник в руку и прочел стальные скрижали ревазоповедника. – Почитай, почитай, – охотно советовал ему Пашинцев. – Другой раз молчишь, молчишь – **намолчишься** и нач-*

нешь на стене разговаривать: если долго без людей, мне мутно бывает (А. П. Платонов. Чевенгур).

Анализ контекстов указывает как на вынужденное молчание на протяжении долгого времени (1), приводящее к желанию общения, так и добровольное молчание, желаемое состояние (2).

(48) *Обнялись двое на причале*

У отплывающей Земли,

И все молчали, все молчали,

И намолчатся не могли.

И в том молчаньи стали грубы

Слова – обычный мелкий сор

(А. Клейн. Мама Даси, представитель Бога на земле).

Перемолчать. Глагол функционирует в значении «1. Обойти молчанием, никак не отозваться на что-л, 2. Молча переждать некоторое время» [МАС]. В контексте он указывает на коммуникативное действие субъекта, подобное действию, обозначенному как *отмолчатся*, ‘ответить молчанием’, подчеркивается контроль субъекта над речевой деятельностью, часто обозначенный в контекстах как *терпеть, перетерпеть*:

(49) – *Я бы, – говорит отец, – не знаю, что сделал, чтоб из дурня моего толк вышел. Одна надежда на вас... Кое как покончат с Шуркой. Это ведь только перетерпеть, перемолчать* уменьшко. *А дальше пойдет у Клавиши Васильевны с отцом чудной такой разговор* (Л. Р. Кабо. Ровесники Октября).

(50) *Мне уже немало лет, многое с чем пришлось повстречаться, многое чего перетерпеть, перемолчать, – но лицемерия и фарисейства на самом святом, что есть у меня и моей страны, – на нашей общей Победе не заметить и не отместить нельзя* (Неправильная Победа // РИА Новости, 2005.04.27).

Перемолчать употребляется и в значении ‘перетерпеть (чувства, эмоции) без слов’:

(51) – *Формообразующая роль среды! Вот в субботу мне позвонили. Сейчас как раз к месту... Подошла минута, товарищи, – в его фаготе что-то сорвалось, он перемолчал накатившую бурю*

чувств. – *Минута, ради которой я собрал вас. Великая минута! Сейчас вы получите ответ, кому еще неясно* (О. Павлов. Асистолия).

Единица *перемолчать* употребляется и в значении ‘молчать сверх’, ‘молчать больше других, заставить говорить других’:

(52) *Держаться независимо года, перемолчать друг друга: кто кого. Остаться беззащитной навсегда и ждать твой голос – больше ничего...* (Л. Костенко. Из голоса напиток твоего).

Замолчать. Глагол *замолчать* толкуется как (1) «перестать говорить, петь, кричать, издавать какие-нибудь звуки» [МАС], указывает на момент перехода от говорения к молчанию:

(53) *Кот вязался и тут: – А я действительно похож на галлюцинацию. Обратите внимание на мой профиль в лунном свете, – кот полез в лунный столб и хотел ещё что-то говорить, но его попросили замолчать, и он, ответив: – Хорошо, хорошо, готов молчать. Я буду молчаливой галлюцинацией, – замолчал* (М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита).

С аналогичным значением в русском языке функционируют и единицы *смолкнуть* (‘перестать звучать или перестать говорить’ [МАС]), *замолкнуть* (‘перестать говорить, затихнуть’ [там же]), *умолкнуть* (‘то же, что и замолкнуть’ [там же]), отличающиеся менее частотным употреблением, характеризующие как момент прекращения речевой деятельности человека, так и наступление тишины. Хотя в словарях отсутствует помета *книжн.*, статистика Национального корпуса русского языка указывает на функционирование данных единиц именно в художественной речи (436 словоформ (86,85 %) зафиксировано в текстах художественной литературы, 45 словоформ (8,96 %) – в публицистике).

(54) *Он выждал некоторое время, зная, что никакою силой нельзя заставить умолкнуть толпу, пока она не выдохнет всё, что накопилось у неё внутри, и не смолкнет сама. И когда этот момент наступил, прокуратор выбросил вверх правую руку, и последний шум сдуло с толпы. Тогда Пилат набрал, сколько мог, горячего воздуха в грудь и закричал, и сорванный его голос понесло над тысячами голов: – Именем кесаря императора!* (М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита).

3.5. Преднамеренное молчание в русской и польской лингвокультуре

1. В русской лингвокультуре идея преднамеренного молчания имеет богатое языковое выражение. Подобно другим европейским языкам, в русском языке компонент ‘не рассказывать, не говорить о ком-, чем-л., хранить в тайне что-л. || не высказывать открыто своего мнения, обходить молчанием что-л.’ [МАС] реализуется с помощью ключевой лексемы *молчать*.

(55) *Мы поклялись друг другу, что никому не скажем о нашем чудовищном проступке. Я молчал о нем сорок лет и только сейчас поведал эту страшную тайну* (Э. Рязанов. Подведенные итоги)².

Однако данная лексема настолько многозначна, что употребление ее именно в значении ‘хранить в тайне’, ‘обходить молчанием’ недостаточно частотно. Так, в Национальном корпусе русского языка зафиксировано 14408 контекстов употребления единицы *молчать*, из них в значении ‘хранить в тайне’, ‘обходить молчанием’ – лишь 183 контекста. Русская единица *молчать* характеризуется широким семантическим полем. Сужается же значение, конкретизируется в производных от глагола *молчать*. В частности, преднамеренное молчание реализуется в русском языке с помощью единиц *промолчать*, *умолчать*, *замолчать*. Причем о молчании с умыслом как особом виде молчания говорит тот факт, что глаголы *умолчать*, *замолчать* имеют видовую пару – *умолчать / умалчивать*, *замолчать / замалчивать*. Молчание с умыслом в русской лингвокультуре обозначено как *умолчание* и *замалчивание*.

Современные словари определяют *умолчать* как ‘не сказать о ком-, чем-л., обойти молчанием что-л. || умышленно не сказать о ком-, чем-л., желая скрыть, утаить что-л.’. Подобное же толкование ха-

² В данном разделе при подборе примеров были использованы следующие электронные ресурсы: информационно-справочная система «Национальный корпус русского языка» [<https://ruscorpora.ru>], «Фундаментальная электронная библиотека» [<http://feb-web.ru>], «Narodowy Korpus Języka Polskiego» [<http://nkjp.pl>], «Korpus języka polskiego PWN» [<https://sjp.pwn.pl/korpus>].

рактирует единицу *замолчать* – ‘умышленным молчанием скрыть, не дать узнать что-л.’ [МАС]. Большой толковый словарь русского языка подчеркивает целенаправленность данного речевого действия: ‘умолчать – не сказать о ком-, чём-л., обойти молчанием что-л. (обычно желая утаить что-л., преследуя какие-л. цели)’. Толковый словарь современного русского языка [ТСРЯ] разделяет *умолчание* как ‘молчание умышленное’ и *замалчивание* – ‘преднамеренное’, то есть ‘заранее обдуманное, умышленное (обычно о чем-нибудь плохом)’. Таким образом, *замалчивать* приобретает коннотацию ‘злого умысла’. Лексема *умолчать* связана с речью, с ее отсутствием, ‘не сказать’; *замолчать* – с информацией, знанием, ‘не дать знать’.

Контексты употребления позволяют говорить о глаголах *умолчать* и *замолчать* как о разных речевых действиях.

Умолчание всегда связано с речью, говорением.

(56) *Прослушка оказалась неуклюжей, назойливой, когда быстро становится понятным, что надо говорить, а о чем лучше **умолчать*** (А. Горшков, А. Политковская. Хроника убийства и последних дней жизни).

Контекстуальные синонимы позволяют конкретизировать значение данной единицы: *намек, недоговоренность, недосказанность*.

(57) *Рассказ полон **намеков** и **недоговоренностей**. Остается впечатление, что автор стремился не столько сообщить нечто существенное, сколько **умолчать** о чем-то главном* (Э. Герштейн. Надежда Яковлевна).

(58) *Но чтобы **умолчать** о чем-то, надо знать, чего ты **не досказываешь**, следовательно, собирать все-таки больше того, что намерен изложить* (В. Аграновский. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике).

Употребление единиц *умолчать* / *умалчивать*, *умолчание* всегда связано с неполнотой предоставляемой (высказываемой) информации. Частичная недосказанность, недоговоренность обуславливает и идущий далее неопределенный объект (*о чем-то, о кое-чем, о кое-каком*), и употребление некоторых лексических единиц типа *частично, единственно, только* (*умолчать*).

(59) *Это единственное, о чем моя мама сумела **умолчать*** (Д. Симонова. Сорванная слива).

(60) *Госпожа Панфилова накануне вчерашней встречи предпринимателей была принята генпрокурором Владимиром Устиновым. После чего объявила, что это знак будущего примирения силовиков с бизнес-кругами. Но о том, что именно пообещал ей генпрокурор, она предпочла **умолчать*** (К. Смирнов. Олигархи тоже люди).

Умолчание обладает не только отрицательной коннотацией: может быть предпочтительнее говорения.

(61) *Я могу о чем-то **умолчать**, но говорить не то, что думаю, у меня не получается* (Л. Шинкарев. Лучше по своей прихоти нуждаться, чем по своей воле преуспевать).

Глагол *умалчивать / умолчать* имеет особое управление: объект может стоять как в предложном падеже, так и в винительном без предлога [ТСРЯ]: *умолчать + о + ПП; умолчать + ВП*.

Например, *умолчать об аварии, о катастрофе, качестве питания и др.; умолчать факты, проблему и др.*

С иной ситуацией мы сталкиваемся при анализе функционирования единиц *замолчать / замалчивать*, выступающих в тексте как антонимы говорения. Об этом свидетельствуют и зафиксированные нами контекстуальные синонимы: *не говорить, не сообщать, утаивать, игнорировать, скрывать, не замечать, не произносить вслух, не признаваться самому себе, «гробовая тишина», «живое захоронение без легенд и преданий»*. Контекстуальный анализ расширяет значение данной единицы и позволяет выделить следующие компоненты:

– ‘не говорить’

(62) *Почему Вы так думаете? Он Вам говорил? Браун усмехнулся. – Напротив, так старательно **замалчивал** еще в Петербурге, что это было вернее всяких исповедей* (М. А. Алданов. Пещера).

– ‘не сообщать’

(63) *Иосиф мог **замалчивать** и христианство, как **замалчивал** другие мессианские движения. Однако кое-какие, хоть и краткие, сведения о евангельских событиях историк все же сообщает* (А. Мень. Сын Человеческий).

– ‘не признаваться самому себе’

(64) *Целые годы он замалчивал свое раздражение, сдерживал его, замыкал его в своей душе* (Л. И. Шестов. Шекспир и его критик Брандес).

– ‘не произносить вслух’

(65) *Старый одноухий Ключня сам себе дал зарок не произносить слова «воля». <...> Боясь слова, он его замалчивал, зажевывал* (В. Маканин. Буква А).

– ‘скрывать, утаивать, искажая’

(66) *Некоторые исследователи даже считают, что Бекон умышленно искажал и замалчивал открытия Гильберта* (В. П. Карцев. Приключения великих уравнений).

– ‘прятать’, ‘оставлять в тайне’

(67) *Руководите страны своих детей не то чтобы не имели, но как бы прятали от публики, замалчивали, не упоминали, подчеркнуто обнимаясь на публике с чужими* (А. Привалов. Саги о детях).

– ‘игнорировать, обходить вниманием’

(68) *К тому же лорд Сноуден...неизменно тактично замалчивал бестактные вопросы, просто отвечал на заумные, приятно отишучивался и честно старался понять родной язык в устах русских* (О. Кабанова. Знаменитости лорда Сноудена).

– ‘не замечать’

(69) *Сделавшись редактором, я сейчас же написал сам небольшую рецензию по поводу ее прекрасного рассказа «За стеной», появившегося в «Отечественных записках». Я первый указал на то, как наша тогдашняя критика замалчивала такое дарование* (П. Д. Боборыкин. Воспоминания).

Таблица 4

Особенности объекта глагола замалчивать / замолчать

Замалчивать +	
объект одушевленный	объект неодушевленный
своих детей	все интересующие нас факты
писателей	опыт колхоза и его достижения

нас его Столыпина Ушакова дарование оппонентов Ахматову Шнитке Тищенко других талантливых авторов	учение проблему имя истину свежую новость дело радиационное излучение все, что было связано с духовной эволюцией Пушкина в сторону религиозности достижения советской литературы, советского искусства, советской культуры эти статьи ситуацию страх перед наполненной бедствиями «полити- ческой» жизни христианство мессианские движения худшие проявления вероломства самые вопиющие преступления свое раздражение роль и значение Советского Союза роль и значения второго фронта и сопротивле- ния бестактные вопросы открытия Гильберта слово
---	--

Замалчивание может быть как преднамеренное, так и не преднамеренное.

(70) *Убийство Распутина, хотя еще и свежая новость, как-то мало интересовала фронт, или ее **умышленно замалчивали*** (Н. П. Карбачевский. Что глаза мои видели).

(71) *Западноевропейская историография **отчасти по неведению, отчасти умышленно замалчивала Ушакова*** (Е. В. Тарле. Адмирал Ушаков на Средиземном море).

Интересно управление данного глагола: замалчивать + что? / кого?

Объект – конкретное, реже абстрактное существительное, прилагательное или причастие в роли существительного. Объект может быть как неодушевленным, так и одушевленным.

(72) *В СССР, где любовь раньше была не в моде, Ахматову долго затирали и замалчивали* (Л. Вертинская. Синяя птица любви).

(73) *Кнайфель (его замалчивали так же, как Шнитке, Тищенко, других талантливых авторов) по тому же поводу написал «Письмо Ленина к членам ЦК» для мужского хора* (М. Токарева. «Петербургские тайны» семьи Петровых // «Общая газета», 1998. 02.04).

Частотность употребления одушевленных объектов из зафиксированного употребления – 29 % (см. таблицу 4).

Таким образом, единицы *умалчивать* и *замалчивать* противопоставляются друг другу по шкале «частичность – полнота». Замалчивается, предается забвению *теория, учение, истина, творчество, историческое событие, сам человек*. Часто это подчеркивается и контекстуально – *«все интересующие нас факты», «полностью замалчивали все, что было связано с духовной эволюцией Пушкина»*.

Преднамеренное молчание в русской лингвокультуре может быть выражено и с помощью единицы *промолчать* как уход от ответа, нежелание говорить, попытка скрыть, утаить информацию.

(74) *Утром про ночное происшествие он, естественно, промолчал* (А. Слаповский. Большая Книга Перемен).

(75) *Он промолчал, храня военную тайну* (Б. Кенжеев. Из Книги счастья).

Как мы видим, компонент ‘преднамеренно скрыть, утаить информацию, обойти молчанием’, характеризующий ключевую лемму-репрезентант молчания во многих языках, в русском языке приобретает самостоятельное языковое выражение.

Характеризует ли данное явление другие славянские языки, также отличающиеся развитой префиксацией, или мы можем сделать вывод о специфичном в репрезентации идеи молчания в русской лингвокультуре, следовательно, специфичном в русском коммуникативном молчаливом поведении?

2. Подобную ситуацию мы можем наблюдать в восточнославянских языках. Так, в украинском языке преднамеренное молчание зафиксировано единицами *умовчати (вмовчати) – умовчувати (вмовчувати), замовчати – замовчувати, промовчати – промовчувати*, характеризующимися аналогичным функционированием, что и в русском языке [СУ].

Специфичное в русской репрезентации молчания по отношению к другим славянским языкам рассмотрим на примере польского.

В польском языке ключевая лексема *milczeć* имеет близкое к русскому глаголу значение ‘*nie poruszać jakiejś sprawy; też: nie reagować na coś, nie protestować przeciwko czemuś / не касаться какого-либо вопроса, не реагировать на что-либо, не протестовать против чего-либо*’ [Słownik języka polskiego PWN]. В словаре польского языка Витольда Дорошевского (50–60 гг. XX в.) значение глагола *milczeć* расширяется за счет компонента ‘*nie poruszać jakiejś sprawy, nie rozgłaszać czego, dochowywać tajemnicy / не касаться какого-либо вопроса, не разглашать что-либо, хранить тайну*’ [Słownik Doroszewskiego]:

(76) *Jesteśmy świadkami procesu delegitymizacji wartości demokratycznych. A prezydent milczy / Мы являемся свидетелями процесса утраты легитимности демократических ценностей. А президент молчит (Gazeta wyborcza).*

(77) *W Starym Testamencie odnotowany został strach i donosicielstwo Adama, lecz o reakcji Ewy Pismo milczy / В Ветхом Завете засвидетельствован был страх и доносительство Адама, но о реакции Евы Священное Писание молчит (Kofta Krystyna. Wychowanie seksualne dla klasy wyższej, średniej i niższej).*

Если в первом примере (76) молчание предполагает политику невмешательства, нежелание касаться какого-либо вопроса, то есть отсутствие реакции на событие, происшествие и т. д., то во втором – молчание указывает на неполноту информации, иначе говоря, утаивается только какая-то часть сообщения, что в большей степени соответствует русскому глаголу умалчивать.

Обходить молчанием можно, как правило, определенную тему, в таких случаях в польском языке частотно употребляется фразеологизм *milczeć na temat* (букв. молчать на тему). В контекстах употребления указанного польского фразеологизма обычно зафиксирована ситуация, которая предполагает отсутствие высказывания, сообщения вообще, например:

(78) *15 lat temu nawet najwięksi optymiści wśród naukowców milczeli na temat perspektyw leczenia HIV lub szczepionki» – powiedział prezes / 15 лет назад даже самые большие оптимисты среди ученых молчали о перспективах (=замалчивали перспективы) лечения ВИЧ или вакцины» – сказал председатель (Gazeta.pl).*

Глагольный компонент данной фразеологической единицы может заменяться существительным *milczenie* (молчание), в таких случаях в русском языке обычно употребляется существительное замалчивание:

(79) *Standardem naszej pracy jest milczenie na temat strategii prowadzenia sprawy, która została obrona przez klienta – nawet byłego / Стандартом нашей работы является замалчивание стратегии ведения дела, выбранного клиентом, – даже бывшим.*

Другим польским глаголом, употребление которого также характерно для описания ситуации преднамеренного молчания, является глагол *zmilczeć*, имеющий значения ‘zareagować na coś milczeniem’ (отреагировать на что-либо молчанием) и ‘celowo nie powiedzieć o czymś’ (сознательно не сказать о чем-либо) [Słownik języka polskiego PWN].

Несмотря на то, что русско-польские переводные словари этот глагол приводят в качестве соответствия к русскому глаголу смолчать, судя по приведенным значениям, *zmilczeć* больше соответствует русским глаголам промолчать в значении ‘не ответить, ничего не сказать’, умолчать (‘умышленно не сказать о ком-, чем-либо, желая скрыть, утаить что-либо’, ‘не сказать о ком-, чем-либо, обойти молчанием что-либо’) и замолчать (‘умышленным молчанием скрыть, не дать узнать что-либо’). На соответствие польского гла-

гола *zmilczeć* и русского промолчать указывает и контекстуальное употребление:

(80) W Charkowie Komorowski odpowiedział: – Tak mnie wychowano w domu, żeby na brak manier nie odpowiadać brakiem manier, więc ja *zmilczę* w tej kwestii / В Харькове Коморовский ответил: Меня так воспитали, чтобы на отсутствие манер не отвечать отсутствием манер, следовательно, я промолчу в этой ситуации (*Gazeta wyborcza*).

Если в русской лингвокультуре частичность / полнота утаиваемой информации становится релевантным критерием для выбора единиц умалчивать / замалчивать, то в польском языке данные значения являются компонентом одной – *zmilczeć*:

(81) *Sama partia dotąd próbowała zmilczeć referendalny problem swojej wiceprzewodniczącej* / Сама партия до тех пор пробовала замолчать проблему референдума своего вице-председателя (*Gazeta.pl*).

(82) O tym, co wyprawia w filmowym hotelu Zbigniew Buczkowski, wolałbym w ogóle *zmilczeć* / О том, что вытворяет в кинематографической гостинице Збигнев Бучковский, я желал бы вообще умолчать (*Gazeta wyborcza*).

Следует заметить, что в последнем случае мы могли бы употребить и глагол промолчать, который также в определенных контекстах указывает на целенаправленное утаивание информации:

(83) *Sam jej miałem ochotę powiedzieć, że jakby nas w czasie drugiej wojny nie okradli, tobyśmy dziś żyli jak Niemcy. Ale zmilczałem. Nie możemy Niemców obrażać* / Сам я имел желание ей сказать, что если бы нас во время Второй мировой войны не обворовали, мы бы сегодня жили как Германия. Но я промолчал. Мы не можем немцев обижать (*Gazeta wyborcza*).

Идея преднамеренного молчания в польском языке может быть реализована и единицей *przemilczeć*, имеющей широкий спектр значений, в числе которых ‘*świadomie coś zataić*’ (сознательно что-то скрыть), ‘*nic nie odpowiedzieć na coś*’ (ничего не ответить на что-либо), реализующих идею сокрытия, утаивания информации, некой недоговоренности.

Таким образом, мы можем говорить о семантической избыточности русского языка по сравнению с польским, что, несомненно, актуализирует проблему поиска соответствующей единицы, повышает роль контекста, в котором выступает тот или иной репрезентант.

(84) Kościół katolicki ma, jak wiadomo, dwie podstawowe metody reagowania na wszelkie nieprzychylnie dla siebie informacje czy niepomyślnie wydarzenia. Jedna metoda to przemilczenie. Ale trudno jest przemilczeć coś, co ma kilkadziesiąt milionów nakładu w skali światowej / У католической церкви есть, как известно, два основных метода реагирования на всевозможную неблагоприятную для себя информацию или неблагоприятные события. Один метод – это замалчивание. Но трудно замолчать что-то, что имеет несколько десятков миллионов тиража в мировом масштабе (Jerzy Prokopiuk. Herezja znaczy wolność).

(85) Rosyjskie telewizje państwowe przemilczały falę niedzielnych protestów przeciw drastycznemu podniesieniu celi na przywożone z zagranicy samochody / Российское государственное телевидение замалчивало волну воскресных протестов против резкого поднятия пошлин на автомобили, которые привозились из-за границы (Gazeta wyborcza).

(86) Tymczasem premier do kilku z tych spraw odniósł się zdawkowo, inne zupełnie przemilczał / Тем временем премьер к некоторым из этих проблем отнесся равнодушно, другие полностью замалчивал (Gazeta wyborcza).

(87) Żaden kraj nie jest godny nazywać się wolnym, jeżeli choć jeden człowiek zmuszony jest do niewoli. Żadne ustawodawstwo nie może więc przemilczeć praw człowieka, żadne społeczeństwo nie może poświęcać jednego człowieka dla innych / Ни одна страна не достойна называться свободной, если хоть один человек вынужден жить в неволе. Ни одно законодательство не может, следовательно, замолчать права человека, ни одно общество не может жертвовать одним человеком для других (Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 21.01.1993, 1 kadencja, 35 posiedzenie, 1 dziec. Warszawa, 1993).

(88) Przemilczę fakt, że podróż z hotelu na dworzec z takim rozłożeniem ciężaru wydłużyła się dwukrotnie / Я умолчу о том факте, что время путешествия из гостиницы на вокзал с таким расположением груза увеличилось вдвое (Gazeta wyborcza).

Обращение к русской и польской лингвокультурам позволяет прийти к выводу о том, что идея преднамеренного молчания в славянских языках имеет самостоятельное выражение. Русский язык в репрезентации идеи молчания избыточен по отношению, в частности, к польскому. Для русского языка 'частичность / полнота' утаиваемой информации более релевантна, чем для польского, что обуславливает фиксацию данного компонента значения самостоятельными единицами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В монографии рассматриваются особенности формирования языковых и модусных категорий в русской лингвокультуре.

Категория устойчивости, или стабильности, является ярким примером языковой категории. Реализацией данной категории является функционирование устойчивых сочетаний, отличающихся частотной воспроизводимостью. В древнерусский период довольно сложно говорить о стройной системе жанров, поскольку последние еще только начинают формироваться и постепенно выбирать традиционные для своего выражения формы. Функционально-стилевая характеристика древнерусских произведений также вызывает затруднения. При этом очевидно, что древнерусская речь определенным образом дифференцирована. Применительно к средневековому русскому периоду более правомерно говорить не о текстах разных жанров или стилей, а о текстах разных типов. Языковые средства, свойственные тому или иному типу фрагментов, могут быть самыми разнообразными.

Исследование жанрово-стилевой специфики компилятивного текста ПВЛ и его лингвотекстологический анализ с точки зрения употребления традиционных формул позволяют говорить, во-первых, об отражении в пространстве изучаемого произведения светской и конфессиональной традиций, свойственных древнерусской литературе как таковой, и, во-вторых, о трех типах летописных фрагментов – воинском, агиографическом (соотносятся со светской и конфессиональной традициями соответственно) и деловом. Подавляющее большинство фрагментов ПВЛ относится к воинскому типу: повествование в них связано с военной тематикой и нацелено на передачу информации об основных исторических событиях, оно, как правило, безэмоционально и фактографично.

Значительно меньше в ПВЛ летописных частей агиографического типа – это пространственные фрагменты о Феодосии Печерском и его братии, ряд княжеских некрологов и некоторые другие. Данные части летописи имеют аксиологический характер и отвлекают

читателя от событийного ряда, напоминая о том, что за всем происходящим в государстве и за его пределами стоит Воля Божья. Фрагменты делового типа в ПВЛ крайне малочисленны: они представлены текстами договоров Руси с Византией, относящимися к 911, 945 и 971 гг.

Традиционные формулы широко распространены во всех типах древнерусских произведений, однако обнаружение данных единиц в тексте нередко вызывает определенные трудности у исследователей языка средневековой литературы. Появившись как необходимое на тот момент средство выражения новых значений, традиционная формула по мере распада именного синкретизма стала восприниматься как маркер того или иного типа текста или же его фрагмента. Отдельные традиционные формулы несколько трансформировались и со временем начали выступать в роли выразительного средства, но произошло это лишь в более поздний период развития языка, когда стало возможным говорить об образном типе мышления.

Зависимость выбора традиционной формулы определенного структурно-семантического типа от жанрово-стилевой принадлежности летописного фрагмента свидетельствует о том, что уже в древнерусский период имела место определенная специализация лингвистических средств в зависимости от установки создателя текста.

Традиционными для деловых и воинских фрагментов ПВЛ являются глагольные устойчивые сочетания. При этом глагольно-именные формулы характерны для обоих типов фрагментов, тогда как предикативные выступают исключительно в воинских частях ПВЛ. С этой точки зрения агиографические фрагменты противопоставлены деловым и воинским, поскольку для них языковым средством типизации являются не глагольные, а именные формулы, представленные в двух разновидностях – парной и атрибутивной.

Традиционные формулы уже в древнерусский период начали употребляться в текстах определенной жанрово-стилевой направленности для описания типичных, повторяющихся ситуаций. Некоторые древнерусские сочетания оказались настолько устойчивыми,

что вошли во фразеологический фонд современного русского языка и знакомы большинству его носителей.

Итак, с помощью традиционных формул создавались древнерусские тексты разных жанрово-стилевых типов. Данные единицы положили начало развитию фразеологического состава русского языка, обогатили его, сделав возможным не просто экспликацию тех или значений в тексте, а экспликацию в зависимости от цели и условий сообщения, что говорит о проявлении внимательного и сознательного отношения человека как к самому языку, так и к его функциональным возможностям.

Не менее интересно развитие модусных категорий, напрямую связанных с речевой деятельностью носителей русской национальной лингвокультуры. Анализ интерпретирующей категории оценки позволил авторам сделать следующие выводы.

Оценка является результатом ценностного отношения человека к окружающей действительности и базируется на суждении (мнении) о ценностях. Таким образом, понятия оценка и ценность не тождественны: ценность – это то, что мы оцениваем (предмет оценки), а оценка – это сам процесс оценивания, кроме того, оценка субъективна, она может быть положительной и отрицательной, тогда как ценность объективна.

В научной литературе разграничивают также понятия оценки и оценочности: первое – действие субъекта, который приписывает положительные или отрицательные качества объекту, выражает отношение к нему, а второе является свойством языковой единицы, ее способностью эксплицировать положительные или отрицательные свойства объекта.

Категория оценки имеет эволюционный характер, ее развитие зависит не только от лингвистических, но и от экстралингвистических факторов, в частности от смены взглядов носителей языка на окружающий мир. Древнерусские оригинальные тексты, к которым относятся и летописи, отражают языковую ситуацию, сложившуюся после принятия христианства, когда происходит смена стереотипов сознания, в результате чего меняется представление об основных ценностных категориях, таких как добро, зло, истина, ложь, грех и т. д.

Вслед за Н. С. Ковалевым в древнерусских текстах мы выделяем 1) объективированные теистические оценки (сфера мистического субъекта), 2) обыденные этические оценки (принадлежат миру, человечеству в целом), 3) субъективно-оценочные высказывания (принадлежат отдельному человеку, субъекту текста). Главной для древнерусского книжника является теистическая оценка (исходящая от Бога), которая базируется на таких универсальных понятиях, как добро и зло, в то же время представление о добре и зле существует у каждого человека в отдельности и у человечества в целом, следовательно, рассматриваемые единицы выражают также субъективную и обыденную этическую оценку. Оценочные единицы, как правило, являются смысловым центром того или иного микротекста, в связи с чем можно говорить о ценностном подходе к слову.

Анализ употребления единиц категории оценки в тексте «Повести временных лет» позволил установить, что они формируют систему, включающую слова, сопряженные семантически. В этой системе можно выделить две подсистемы – благо (добро) и зло, что обусловлено представлением об изначальной дихотомии мира: Бог и Дьявол (благо и зло) выступают как две равные сущности, человек же вправе выбрать ту или иную сторону, причем сделать он это может в любой момент своей земной жизни. Каждый поступок человека, каждое происходящее событие оцениваются сквозь призму данных этических категорий, однако существующая система оценки не позволяет однозначно интерпретировать тот или иной факт, а образ того или иного персонажа бывает иногда достаточно сложным.

Итак, ценностные установки древнерусских книжников сомнений не вызывают: в христианской культуре главной является оппозиция Бог – Дьявол, иначе говоря оппозиция благо (добро) – зло. В тексте ПВЛ указанное противопоставление может быть выражено эксплицитно с помощью единиц категории оценки (*добръ, зль, любы, грѣхъ, свѣтъ, правда* и т. д.), которые маркируют определенные фрагменты повествования, а также имплицитно с помощью цитат из прецедентных текстов, библейских реминисценций, которые сопровождают наиболее значимые (с точки зрения летописца) исто-

рические события. Такой сложный многоуровневый текст, как «Повесть временных лет», нельзя понимать буквально, необходимо последовательно расшифровывать ту информацию, которая скрывается за описанием хорошо известных событий.

Категория молчания – универсальная модусная категория.

Идея молчания имеет репрезентацию в любом языке. Анализ фиксации молчания в различных национальных языках позволяет говорить об общем (прагматическое молчание) и специфичном.

В русской лингвокультуре идея молчания реализуется несколькими ключевыми лексемами: *молчание*, *безмолвие*, *тишина*, *тишь* и др. В древнерусском языке единица *млъчати* в своем значении имела компонент ‘не говорить’ и указывала на некую ступень к *безмълвию*, *душевному успокоению*, *кротости* и, как следствие, к *тишине*, состоянию благодати. Современная единица *молчание* семантически более узка по сравнению с единицей *тишина*. *Тишина* – отсутствие звуков вообще, *молчание* – отсутствие речи. Тишина – состояние и человека, и природы, и окружающего мира. Молчание в основном характеризует человека. Религиозно-духовная практика, отражающаяся в древнерусской парадигме *молчание – безмолвие – тишина*, повлияла на современное функционирование, сделало его более сложным, обусловило употребление слова *безмолвие* в значении ‘полное молчание’, ‘полная тишина’, а слов *тишь*, *затишье* – в значении ‘спокойствие в мире природы’, *тихость* – ‘кротость, покой в душе’.

Постепенно молчание как ‘религиозный акт’ уходит на периферию значения; умение созерцать, молчать с целью самопознания обуславливает компоненты, связанные, с одной стороны, с немногословием, неразговорчивостью как склонностью человека, с другой – со способностью выражать и понимать без слов как особенностью русского коммуникативного поведения. Для русской лингвокультуры является релевантным и молчание чувств, эмоций, волнений.

По сравнению с другими языками, в том числе славянскими, репрезентация молчания как деятельности человека в современном русском языке богата и разнообразна. За каждой единицей-репрезентантом скрываются особенности русского коммуникативного мол-

чаливого поведения. Релевантными и приобретающими свою собственную языковую фиксацию становятся следующие компоненты: ‘преднамеренное, умышленное молчание’ (*умалчивать / умолчать, умолчание; замалчивать / замолчать, замалчивание; промолчать*), ‘момент наступления молчания (*умолкать / умолкнуть, смолкать / смолкнуть, замолкать / замолкнуть, замолчать*)’, ‘сдержанность коммуникантов в речевой деятельности’ (*смолчать, промолчать*), ‘контроль коммуникантов над своей речевой деятельностью, воздержание от ответа, подавление эмоций’ (*смолчать*), ‘отсутствие ответа’ (*промолчать, смолчать*), ‘продолжительность молчания’ (*помолчать, промолчать, намолчаться*), ‘склонность к молчанию’ (*молчаливость, молчаливый*), ‘носитель признака’ (*молчун*).

Особо выделим расширенное количество компонентов, связанных с преднамеренным молчанием, где важным моментом является либо недосказанность, то есть частичное молчание, неупоминание, либо пропуск – полное молчание.

Богатая языковая фиксация идеи молчания указывает прежде всего на значимость молчания для русской лингвокультуры и на взаимообусловленность особенностей репрезентации в языке и национального коммуникативного поведения.

Таким образом, функционируя в национальной лингвокультуре, молчание может быть уникальной константой, в которой наиболее полно отражаются и ментальная составляющая, и ее внешняя поведенческая реализация. Молчание – сложное по своей структуре коммуникативно-культурное образование, отличающееся взаимообусловленностью языкового, когнитивного, аксиологического и коммуникативного уровней. Обладая высокой степенью обобщения культурной информации, молчание является специфичной лингвокогнитивной категорией.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И СОКРАЩЕНИЙ

БТСРЯ – Кузнецов, С. А. Большой толковый словарь русского языка / С. А. Кузнецов. – Санкт-Петербург : Норинт, 2014. – 1536 с.

ИЛ – Повесть временных лет по Ипатьевской летописи. – URL : // <http://www.krotov.info/acts/12/pvl/ipat0.htm>.

ИЭССРЯ – Черных, П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка : 13560 слов : [в 2 т.] / П. Я. Черных. – 3-е издание, стереотипное. – Москва : Издательство «Русский язык», 1999.

ЛЛ – Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи – URL : // <http://www.krotov.info/acts/12/pvl/ipat0.htm>.

ЛЭС – Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. – Москва : Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.

МАС – Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1957–1961. Т. 1 (А-Й); Т. 2 (К-О); Т. 3. (П-Р); Т. 4.(С-Я);. 2-е изд., испр. и доп. Москва, 1981–1984; 3-е изд., стереотип. Москва, 1985–1988; 4-е изд., стер.: Москва, 1999.

МСДРЯ – Срезневский, И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам : репринт. изд. : в 3 т. / И.И. Срезневский. – Москва : Наука, 1989.

РГ 80 – Русская грамматика : в 2 т. / Ред. Н.Ю. Шведова. – Москва : Наука, 1980.

РЛ – Повесть временных лет по Радзивиловской летописи // Полное собрание русских летописей. – Ленинград, 1989. – Т. 38 : Радзивиловская летопись. – С. 11–104.

СД – Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. – Москва : АСТ Астрель, 2009. – 474 с.

СДРЯ – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Гл. ред. Р. И. Аванесов. – Москва : Рус. яз., 1988.

СРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. / АН СССР, Ин-т рус. яз. ; Редкол.: С.Г. Бархударов (отв. ред.) [и др.]. – Москва : Наука, 1975.

СРЯ XVIII в. – Словарь русского языка XVIII века. Вып. 13. / гл. ред. Ю. С. Сорокин. – Санкт-Петербург : Наука, 2003. – 272 с.

СС – Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / под ред. Р. М. Цейтлин. – Москва : Рус. яз., 1994. – 840 с.

СУ – Словники України online // Український Лінгвістичний портал. – URL: <http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/> (дата обращения: 21.01.2021).

СЯП – Словарь языка Пушкина : в 4-х т. Т. 2 (З-Н) / гл. ред. В. В. Виноградов. – Москва : Азбуковник, 2000. – 1085 с.

ТСРЯ – Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – Москва : Азбуковник, 1999. – 320 с.

ФССЯ – Фразеологический словарь старославянского языка : свыше 500 ед. [Электронный ресурс] / Научно-исследовательская словарная лаборатория МаГУ ; отв. ред. С.Г. Шулержкова, члены редколлегии : М.А. Коротенко, Л.Н. Мишина, А.А. Осипова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 424 с.

ЭСРЯ – Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер. – М. : Прогресс, 1986. – 576 с., 672 с., 832 с., 864 с.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Пра-славянский лексический фонд. Отв. редактор О.Н. Трубачев и А.Ф. Журавлев. Вып. 1–33. – М., 1974–2006.

DRA, 1739 – Diccionario de la Lengua Castellana. – Madrid : Imperta de la R.A.E., 1739. – 579 p. – URL : <http://ntlle.DRA.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtllle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0> (дата обращения: 20.01.2021).

DRA, 1780 – Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia Española. Madrid: Joaquín Ibarra, 1780. – 954 p. – URL: <http://ntlle.DRA.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtllle?cmd=Lema&sec=1.2.0.0.0> (дата обращения: 20.01.2021).

DRA, 1817 – Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia Española. – Madrid : Imprenta Real, 1817. – 917 p. – URL: <http://ntlle.DRA.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtllle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0> (дата обращения: 20.01.2021).

DRA, 1884 – Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia Española. – Madrid : Imprenta de D. Gregorio Hernando, 1884. – 1124 p. – URL:

<http://ntlle.DRA.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtllle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0>
(дата обращения: 20.01.2021).

DRA, 1925 – Diccionario de la Lengua Española de Real Academia Española – Madrid : Espasa'Calpe, 1925. – 1277 p. – URL:

<http://ntlle.DRA.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtllle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0>
(дата обращения: 21.01.2021).

DRA, 1936 – Diccionario de la Lengua Española de Real Academia Española – Madrid : Calpe, 1936. – 1335 p. – URL:

<http://ntlle.DRA.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtllle?cmd=Lema&sec=1.3.0.0.0>
(дата обращения: 21.01.2012).

DRA, 2001 – Diccionario de la Lengua Española de Real Academia Española – Madrid : Espasa'Calpe, 2001. – URL:

<https://www.rae.es/> (дата обращения: 05.02.2011).

DRA, 2012 – Diccionario de la Lengua Española de Real Academia Española – Madrid : Espasa'Calpe, 2012. – URL:

<https://www.rae.es/> (дата обращения: 12.01.2017).

OD – English Oxford Living Dictionaries. – URL:

<https://en.oxforddictionaries.com/english> (дата обращения: 30.01.2019).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдулхакова, Л. Р. Вопросы истории языка в работах В. М. Маркова / Л. Р. Абдулхакова // Русский язык: функционирование и развитие (к 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации профессора Виталия Михайловича Маркова): материалы Международной научной конференции (Казань, 18–21 апреля 2012 г.) / Казан. ун-т; Ин-т филологии и искусств; Каф. ист. рус. яз. и слав. языкозн.; под общ. ред. Л.Р. Абдулхаковой, Д.Р. Копосова. – Казань : Казан. ун-т, 2012. – Т.1. – 422 с.

2. Абрамова, В. И. Мотив «невыразимого» в русской романтической картине мира: от В. А. Жуковского к К. К. Случевскому : дис. ... канд. филол. наук / В. И. Абрамова. – Москва, 2007. – 238 с.

3. Адрианова-Перетц, В. П. Военские повести Древней Руси / В. П. Адрианова-Перетц. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1949. – 358 с.

4. Акимова, О. Б. Семантика неизвестности и средства ее выражения в русском языке : дис. ... д-ра филол. наук / О. Б. Акимова. – Москва, 1999. – 377 с.

5. Акимова, Э. Н. Реализация категории обусловленности в языке памятников письменности русского средневековья (XI–XVII вв.) / Э. Н. Акимова; науч. ред. проф. Л. П. Клименко. – Саранск: Изд-во Мордов. университета, 2006. – 240 с.

6. Алексеев, А. А. Текстология славянской Библии / А. А. Алексеев. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1999. – 256 с.

7. Артамонова, М. В. Парные именованья в древнерусском тексте : дис. ... канд. филол. наук / М. В. Артамонова. – Владимир, 2005. – 172 с.

8. Арутюнова, Н. Д. Истоки, проблемы и категории прагматики. Вступительная статья / Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16: Прагмалингвистика. – Москва : Прогресс, 1985. – С. 3–12.

9. Арутюнова, Н. Д. Прагматика / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1990. – С. 389–390.

10. Арутюнова, Н. Д. Предложение и его смысл : Логико-семантические проблемы / Н. Д. Арутюнова ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1976. – 383 с.
11. Арутюнова, Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. / Н.Д. Арутюнова. – Москва : Наука, 1988. – 341 с.
12. Арутюнова, Н. Д. Феномен молчания / Н. Д. Арутюнова // Язык о языке. – Москва, 2000. – С. 417–436.
13. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – 2-е изд., испр. – Москва : Языки русской культуры, 1999. – 911 с.
14. Арутюнова, Н. Д. Молчание: контексты употребления / Н. Д. Арутюнова // Логический анализ языка: язык речевых действий. – Москва, 1994. – С. 106–117.
15. Афанасьев, А. Н. Поэтические воззрения славян на природу : в 3 т. Т. 3 / А. Н. Афанасьев. – Москва : Индрик, 1994. – 840 с.
16. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – 2-е изд., стер. – Москва : УРСС : Едиториал УРСС, 2004. – 571 с.
17. Баженова, И. С. Обозначение эмоций в художественном тексте (прагматический аспект) : дис. ... д-ра филол. наук / И. С. Баженова. – Москва, 2004. – 418 с.
18. Балашова, Е. Ю. Лингвокультурная доминанта вера, надежда, любовь в религиозном дискурсе (на текстовом и системно-языковом материале) / Е. Ю. Балашова. – URL: http://sarrsute.ru/images/stories/articlefoto/rio/yazyk/2/balashova_e.pdf (дата обращения: 12.03.2014).
19. Барсов, Е. В. Слово о полку Игореве как художественный памятник / Е. В. Барсов. – Москва : В университетской типографии на Страстном бульваре, 1887. – 322 с.
20. Бахтин, М. М. Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин // Собрание сочинений. – Москва : Русские словари, 1996. – Т. 5: Работы 1940–1960 гг. – С. 159–206.
21. Бахтина, О. Н. Старообрядческая литература и традиции христианского понимания слова / О. Н. Бахтина. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1999. – 261 с.

22. Безман Е. В. Философские истоки синкретизма как древнерусского языкового явления / Е. В. Безман // Теория языкознания и русистика: наследие Б. Н. Головина: Сборник статей по материалам международной научной конференции, посвященной 85-летию профессора Бориса Николаевича Головина. – Н. Новгород: Изд-во Нижегород. ун-та, 2001. С. 32–33.

23. Бибииков, М. В. Русь в византийской дипломатии: договоры Руси с греками X в. / М. В. Бибииков // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2005. – № 1 (19). – С. 5–15.

24. Богданов, В. В. Молчание как нулевой речевой знак и его роль в вербальной коммуникации / В. В. Богданов // Языковое обобщение и его единицы. – Калинин : КГУ, 1986. – С. 12–18.

25. Богданов, В. В. Функции вербальных и невербальных компонентов в речевом общении / В. В. Богданов // Языковое общение и регулятивы. – Калинин, 1978. – С. 18–25.

26. Богданов, К. А. Очерки по антропологии молчания. Номо Тасенс / К. А. Богданов. – Санкт-Петербург : РХГИ, 1997. – 352 с.

27. Болдырев, Н. Н. Модусные категории в языке / Н. Н. Болдырев // Когнитивная лингвистика: ментальные основы и языковая реализация. Ч 1. – 2005. – С. 31–46.

28. Болдырев, Н. Н. Язык и система знаний. Когнитивная теория языка. – Москва : Издательский Дом ЯСК, 2018. – 480 с.

29. Болдырев, Н. Н. Языковые категории как формат знания / Н. Н. Болдырев // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2006. – № 2. – С. 5–22.

30. Болотина, М. А. Когнитивный аспект оценочной семантики фразеологических единиц с цветообозначениями / М. А. Болотина, Е. А. Шабашева // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2013. – Вып. 2. – С. 21–28.

31. Буслаев, Ф. И. Историческая грамматика русского языка / Ф. И. Буслаев. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 623 с.

32. Бычков, В. В. Эстетическое сознание Древней Руси / В. В. Бычков. – Москва : Знание, 1988. – 64 с.

33. Бычкова, С. Е. Фундамент языковой аксиологии: оценка, ценность, норма, аномалия / С. Е. Бычкова // Гуманитарные науки. – № 6, июнь 2019. – С. 100–102.

34. Васильев, Л. М. Теоретические проблемы общей лингвистики, славистики, русистики. – Уфа : РИО БашГУ, 2006. – 524 с.

35. Вежбицкая, А. Лексическая семантика в культурно-сопоставительном аспекте / А. Вежбицкая // Семантические универсалии и описание языков. – Москва : Яз. рус. культуры, 1999. – 647 с.

36. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. – Москва : Русские словари, 1997. – 411 с.

37. Вендина, Т. И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка / Т. И. Вендина. – Москва : Индрик, 2002. – 336 с.

38. Верещагин, Е. М. История возникновения древнего общеславянского литературного языка : пер. деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников / Е. М. Верещагин. – Москва : Мартис, 1997. – 314 с.

39. Виноградов, В. В. Избранные труды. История русского литературного языка / В. В. Виноградов. – Москва : Наука, 1978. – 323 с.

40. Винокур, Г. О. О задачах истории языка / Г. О. Винокур // Избранные работы по русскому языку. – Москва : Учпедгиз, 1959. – С. 207–226.

41. Виролайнен, М. Речь и молчание: сюжеты и мифы русской словесности / М. Виролайнер. – Санкт-Петербург : Амфора, 2003. – 503 с.

42. Вольф, Е. М. Функциональная семантика оценки / Е. М. Вольф. – Москва : Наука, 1985. – 246 с.

43. Воронцова, Т. А. Типология речевого поведения (коммуникативно-прагматический аспект) / Т. А. Воронцова // Cuadernos de Rusística Española. – 2009. – № 5. – С. 21–31.

44. Гараева, Л. А. Представления древних славян о смерти, отразившиеся во фразеологии (на материале русского и польского языков) / Л. А. Гараева // Россия – Польша: филологический и историко-культурный дискурс: сборник статей участников международной научной конференции (Магнитогорск, 18–19 нояб. 2005 г.) / отв. ред.-сост. С. Г. Шулежкова; чл. редкол. А. А. Горбачевский, В. А. Токарев. – Магнитогорск: МаГУ, 2005. – С. 142–147.

45. Гибатова, Г. Ф. Аксиология в языке / Г. Ф. Гибатова // Вестник ОГУ. – 2011. – №2 (121). – С. 127–132.

46. Гимон, Т. В. Для чего писались русские летописи? / Т. В. Гимон. – URL: <http://opentextnn.ru/history/istochnik/istXIII-XIX/?id=1640> (дата обращения: 05.11.2014).

47. Горбачева, Е. Н. Спор как лингвокультурный концепт : дис. ... канд. филол. наук / Е. Н. Горбачева. – Астрахань, 2006. – 240 с.

48. Горшков, А. И. Теоретические основы истории русского литературного языка / А. И. Горшков. – Москва : Наука, 1983. – 160 с.

49. Граудина, Л. К. Культура русской речи : учеб. для вузов / Л. К. Граудина ; под ред. Л. К. Граудиной, Е. Н. Ширяева. – Москва : НОРМА-ИНФРА М, 1999. – 560 с.

50. Гудзий, Н. К. Литература Киевской Руси и украинско-русское литературное единение XVII–XVIII веков [Электронный ресурс] / Н. К. Гудзий. – Киев : Наук. думка, 1989. – 373 с. – URL: <http://www.philology.ru/literature2/gudziy-89.htm> (дата обращения: 03.05.2015).

51. Гулюк, Л. А. Специфика описания природы женственности в славянской мифологии / Л. А. Гулюк // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Филологічні науки. Ч. II. 2006. № 11 (106). – С. 24–30.

52. Гуревич, Е. В. Парная формула в эддической поэзии (Опыт анализа) / Е. В. Гуревич // Художественный язык средневековья. – Москва : Наука, 1982. – С. 61–82.

53. Данилевский, И. Н. «Добру и злу внимая равнодушно?» (Нравственные императивы древнерусского летописца) / И. Н. Данилевский // Альфа и Омега: Уч. зап. О-ва для распространения Свящ. Писания в России. – 1995. – № 3(6). – С. 145–159. – URL: <https://www.pravmir.ru/dobru-i-zlu-vnimaya-ravnodushno/>.

54. Данилевский, И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.) : курс лекций : учеб. пособие для студентов вузов / И. Н. Данилевский. – Москва : Аспект Пресс, 1999. – 399 с.

55. Данилевский, И. Н. Повесть временных лет: герменевтические основы источниковедения летописных текстов / И. Н. Данилевский. – Москва: Аспект-Пресс, 2004, 370 с.

56. Дементьев, В. В. Варьирование коммуникативных концептов / В. В. Дементьев // Человек в коммуникации: концепт, жанр, дискурс: сб. науч. тр. – Волгоград: Парадигма, 2006. – С. 5–24.

57. Дементьев, В. В. Основы теории непрямой коммуникации : дис. ...д-ра филол. наук / В. В. Дементьев. – Саратов, 2001. – 425 с.

58. Джагарян, М. В. Проблема экспрессивности в публицистическом стиле [Электронный ресурс] / М.В. Джагарян. – URL: http://pglu.ru/upload/iblock/9a9/uch_2009_iii_00003.pdf.

59. Дзюба, Е. В. Когнитивная лингвистика / Е. В. Дзюба. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2018. – 280 с.

60. Дзюба, Е. В. Методологические принципы когнитивного исследования лексической категоризации / Е. В. Дзюба // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2015. – № 2 (43). – С. 5–12.

61. Дзюба, Е. В. Типология категорий языкового сознания / Е. В. Дзюба // Вестник Московского городского педагогического университета. – 2015. – № 1. – С. 167–173.

62. Еремин, И. П. Киевская летопись как памятник литературы / И. П. Еремин // Труды отдела древнерусской литературы / АН СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – Т. 7. – С. 67–97.

63. Желтухина, М. Р. Тропологическая суггестивность масс-медиального дискурса: о проблеме речевого воздействия тропов в языке СМИ: монография / М. Р. Желтухина. – Москва : ИЯ РАН; Волгоград : Изд-во ВФ МУПК, 2003. – 656 с.

64. Жеребило, Т. В. Словарь лингвистических терминов / Т. В. Жеребило. Назрань : Пилигрим, 2010. – 485 с.

65. Живов, В. М. Язык и культура в России XVIII века / В. М. Живов. – Москва : Яз. рус. культуры, 1996. – 592 с.

66. Зайнуллина, С. Р. К вопросу об исторической изменчивости категорий стиля и жанра в связи с лингвистическим анализом древнерусских текстов / С. Р. Зайнуллина // Вестник Удмуртского

университета. Серия: История и филология. – 2015. – Т. 25, вып. 2. – С. 40–44.

67. Зайнуллина, С. Р. Традиционная формула как единица древнерусского текста / С. Р. Зайнуллина // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. – 2013. – Вып. 2. – С. 81–86.

68. Иванян, Е. П. Семантика умолчания и средства ее выражения в русском языке / Е. П. Иванян. – Москва : Флинта : Наука, 2015. – 307 с.

69. Инубиси, Й. Феномен молчания как компонент коммуникативного поведения : дис. ... канд. филол. наук / Й. Инубиси. – Москва, 2002. – 195 с.

70. Истрин, В. М. Книги временные и образные Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Текст, исследование и словарь / В. М. Истрин. – Петроград : Российская Государственная Академическая типография, 1920. – Т. 1. – 633 с.

71. Исупов, К. Г. Молчание (из авторского словаря «Космос русского самосознания») / К. Г. Исупов // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2009. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/molchanie-iz-avtorskogo-slovaryakosmos-russkogo-samosoznaniya> (дата обращения: 04.04.2021).

72. Йоко, И. Феномен молчания как компонент коммуникативного поведения : дис. ... канд. филол. наук / И. Йоко. – Москва, 2002. – 197 с.

73. Карамзин, Н. М. История государства Российского : в 12 т. Т. 1. / Н. М. Карамзин ; под ред. А. Н. Сахарова. – Москва : Наука, 1989. – 640 с.

74. Кибрик, А. А. Молчание как коммуникативный акт / А. А. Кибрик // Действие: лингвистические и логические модели. – Москва : ИЯЗ, 1991. – С. 49–51.

75. Килина, Л. Ф. Глагольно-именные устойчивые сочетания с компонентом животь: функционирование и развитие (на материале русских летописей XIII–XV вв.) / Л. Ф. Килина, С. Р. Зайнуллина //

Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. – 2017. – Т. 27, вып. 3. – С. 429–435.

76. Килина, Л. Ф. О языковых способах создания развернутого летописного сообщения на военную тему / Л. Ф. Килина, С. Р. Зайнуллина // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. – 2015. – Т. 25, вып. 2. – С. 33–39.

77. Килина, Л. Ф. Преднамеренное молчание в русской и польской современных лингвокультурах / Л. Ф. Килина, Т. Р. Копылова // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. – 2014. – Вып. 4. – С. 173–178.

78. Килина, Л. Ф. Семантическое пространство субстантива грех и его представление в контексте (на материале «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку) / Л. Ф. Килина // Вестник Удмуртского университета. – 2006. – № 5, спец. вып. 2. Филологические науки. – С. 59–68.

79. Килина, Л. Ф. Способы языковой репрезентации концепта «любовь» в «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку / Л. Ф. Килина // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. – 2008. – Вып. 3. – С. 71–78.

80. Килина, Л. Ф. Ценностно-смысловые трансформации в пределах семантического поля «Добро» в русском языке = Axiological transformations in the semantics of the domain «Добро» (The good) in the russian language / Л. Ф. Килина, Е. И. Колосова // Филология и культура = Philology and culture. – 2016. – № 1. – С. 72–78.

81. Киселева, М. С. Как возможна история идей? На примере древнерусской книжности / М. С. Киселева // Философский век. Альманах 17. История идей как методология гуманитарных исследований. Ч. 1. – Санкт-Петербург, 2001. – С. 200–205.

82. Климков, О. С. Исихазм и русская религиозная философия XV–XVIII вв. : дис. ... докт.. филос. наук / О. С. Климков. – Санкт-Петербург, 2018. – 758 с.

83. Кобрин, Н. А. Культура и ее роль в лингвокреативной деятельности человека / Н. А. Кобрин // Studia Linguistica. Перспективные направления современной лингвистики. – 2003. – Вып. 12. – С. 61–67.

84. Кобрина, О. А. Модусные категории как способы выражения субъективного отношения человека к высказыванию / О. А. Кобрина // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2006. – № 2. – С. 90–100.

85. Ковалев, Н. С. Древнерусский литературный текст: Проблемы исследования смысловой структуры и эволюции в аспекте категории оценки / Н. С. Ковалев. – Волгоград : Изд-во Волгоградского государственного университета, 1997. – 260 с.

86. Ковалев, Н. С. Древнерусский летописный текст: принципы образования и факторы эволюции (на материале Галицко-Волынской летописи) : учеб. пособие / Н. С. Ковалев. – Волгоград : Изд-во Волгоград. гос. ун-та, 2001. – 180 с.

87. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка : учеб. / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский – Москва : Флинта : Наука, 2008. – 464 с.

88. Кожина, М. Н. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / М. Н. Кожиной. – Москва : Флинта : Наука, 2011. – 694 с.

89. Колесов, В. В. Древняя Русь: Наследие в слове. В 5-ти кн. Кн. 2. Добро и зло. – Санкт-Петербург: Филол. факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2001. – 304 с. – (Филология и культура).

90. Колесов, В. В. Древнерусский литературный язык / В. В. Колесов. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1989. – 296 с.

91. Колесов, В. В. Общие понятия исторической стилистики / В. В. Колесов // Историческая стилистика русского языка : межвуз. сб. науч. трудов. – Петрозаводск : Петрозавод. гос. ун-т, 1990. – С. 16–36.

92. Колесов, В. В. Философия русского слова / В. В. Колесов. – Санкт-Петербург : ЮНА, 2002. – 448 с.

93. Колтунова, М. В. Язык и деловое общение : нормы, риторика, этикет : учеб. пособие для вузов / М. В. Колтунова. – Москва : НПО «Экономика», 2000. – 271 с.

94. Копылова, Т. Р. Молчание в русской и испанской лингвокультурах (к вопросу об особенностях формирования) / Т. Р. Копылова //

Русско-испанские сопоставительные исследования: теоретические и методические аспекты = Investigaciones comparadas ruso-espanolas: aspectos teoricos y metodologicos. – Гранада : Jizo Ediciones, 2011. – С. 143–147.

95. Копылова, Т. Р. Молчание как культурный знак / Т. Р. Копылова // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. – 2012. – Вып. 4. – С. 126–129.

96. Копылова, Т. Р. Молчание как рецептивное коммуникативное поведение: проблема национальной специфики / Т. Р. Копылова // Теория и практика языковой коммуникации. – Уфа : Уфим. гос. авиац. техн. ун-т, 2015. – С. 119–124.

97. Копылова, Т. Р. Молчание как термин: проблема многозначности / Т. Р. Копылова // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. – 2015. – Т. 25, вып. 5. – С. 7–11.

98. Копылова, Т. Р. Молчание: от концепта к русскому коммуникативному поведению (особенности формирования) / Т. Р. Копылова // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. – 2015. – Т. 25, вып. 2. – С. 27–32.

99. Копылова, Т. Р. Промолчать – помолчать – смолчать (об особенностях русского коммуникативного молчаливого поведения) / Т. Р. Копылова // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. – 2014. – Вып. 4. – С. 169–172.

100. Корниенко, М. А. Слово и молчание как раскрытие опыта : дис. ... канд. филос. наук / М. А. Корниенко. – Томск, 2016. – 129 с.

101. Корнилова, Н. Б. Онтология молчания: На примере ранней прозы Леонида Андреева : дис. ... канд. филол. наук / Н. Б. Корнилова. – Ярославль, 2002. – 164 с.

102. Крестинский, С. В. Коммуникативная нагрузка молчания в диалоге / С. В. Крестинский // Личностные аспекты языкового общения. – Калининград : Калинин. гос. университет, 1989. – С. 92–97.

103. Крестинский, С. В. Коммуникативно-значимое молчание в структуре языкового общения: дис. ... канд. филол. наук / С. В. Крестинский. – Тверь, 1990. – 253 с.

104. Крестинский, С. В. Коммуникативно-значимое молчание в структуре языкового общения: автореф. дис. ... канд. филол. наук / С. В. Крестинский. – Тверь, 1990. – 18 с.

105. Крестинский, С. В. Коммуникативно-прагматическая структура акта молчания / С. В. Крестинский // Коммуникативно-функциональный аспект языковых единиц. – Тверь, 1993. – С. 50–67.

106. Крестинский, С. В. Молчание в системе невербальных средств коммуникации / С. В. Крестинский // Тверской лингвистический меридиан. – Тверь, 1998. – Вып. 1. – С. 74–79.

107. Крестинский, С. В. Молчание как средство коммуникации и его функции в языковом дискурсе / С. В. Крестинский // Вестник ТвГУ. Серия: Филология. – Тверь, 2011. – Вып. 1. – С. 34–37.

108. Крылова, Л. К. Жанрово-стилевая обусловленность функционирования грамматической категории рода имени существительного в старорусских церковно-публицистических памятниках XVI века (на материале «Слов» Иосифа Волоцкого и «Посланий» Нила Сорского) / Л. К. Крылова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 3. – С. 84–88.

109. Крысько, В. Б. Стилистическая дифференциация древнерусской лексики (на материале глаголов со значением *transgredi*) / В. Б. Крысько // Историческая стилистика русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. З. К. Тарланов. – Петрозаводск, 1990. – С. 50–60.

110. Кубрякова, Е. С. Категория / Е. С. Кубрякова // Краткий словарь когнитивных терминов / под общ. ред. Е. С. Кубряковой. – Москва, 1996. – С. 45.

111. Кубрякова, Е. С. Типы категорий в языке / Е. С. Кубрякова. – Москва : Ин-т языкознания РАН, 2010. – 551 с.

112. Кубрякова, Е. С. Типы категорий в языке / Е. С. Кубрякова. – Москва : Ин-т языкознания РАН, 2010. – 551 с.

113. Кубрякова, Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца 20 века. – Москва : Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. – С. 144–238.

114. Кубрякова, Е. С. Понятие «парадигма» в лингвистике. Введение / Е. С. Кубрякова // Парадигма научного знания в современной лингвистике. – Москва : ИНИОН РАН, 2008. – С. 4–14.

115. Кусков, В. В. История древнерусской литературы : учеб. для филол. спец. вузов / В. В. Кусков. – 7-е изд. – Москва : Высшая школа, 2003. – 336 с.

116. Ларин, Б. А. История русского языка и общее языкознание. Избранные работы : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Б. А. Ларин ; сост. Б. Л. Богородский, Н. А. Мещерский. – Москва : Просвещение, 1977. – 224 с.

117. Лихачев, Д. С. Исследования по древнерусской литературе / Д. С. Лихачев. – Ленинград : Наука, 1986. – 408 с.

118. Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы / Д. С. Лихачев ; АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1967. – 327 с.

119. Лихачев, Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение / Д. С. Лихачев. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 499 с.

120. Лихачев, Д. С. Человек в литературе Древней Руси / Д. С. Лихачев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1970. – 180 с.

121. Ломтев, Т. П. Из истории синтаксиса русского языка / Т. П. Ломтев. – Москва : Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1954. – 78 с.

122. Маркелова, Т. В. Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке : автореферат дис. ... доктора филологических наук : 10.02.01 / Моск. пед. ун-т. – Москва, 1996. – 47 с.

123. Марков, В. М. Заметки по исторической стилистике русского языка / В. М. Марков // Избранные работы по русскому языку / под ред. проф. Г. А. Николаева. – Казань : ДАС, 2001. – 275 с.

124. Мартынова, Е. М. Молчание: дискуссионные вопросы / Е. М. Мартынова // Язык и культура / Е. И. Бойчук. – Новосибирск : Агентство СИБПРИНТ, 2012. – С. 96–107.

125. Марьянчик, В. А. Оценка как категория текста / В. А. Марьянчик // Вестник Северного (Арктического) федерального универ-

ситета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2011. – № 1. – С. 100–103.

126. Меликян, С. В. Речевой акт молчания в структуре общения : дис. ... канд. филол. наук / С. В. Меликян. – Воронеж, 2000. – 177 с.

127. Мирзоева, Л. Ю. Диахроническая детерминированность восприятия средств выражения оценки / Л. Ю. Мирзоева // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2013. – № 4. – С. 123–128.

128. Михайлова, М. В. Молчание как форма духовного опыта: эстетико-культурологический аспект : дис. ... канд. филос. наук / М. В. Михайлова. – Санкт-Петербург, 1999. – 158 с.

129. Михайлова, М. Ю. Семантика невыразимого и средства ее передачи в русском языке : дис. ... д-ра филол. наук / М. Ю. Михайлова. – Уфа, 2017. – 322 с.

130. Никифорова, С. А. Ранняя терминология христианства: структура и семантика композитов с начальным зъл- в списках Служебной минеи на май XI и XIII веков / С. А. Никифорова // Европейские языки: историография, теория, история: Межвузовский сборник научных работ. – Вып. 5. – Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2005. – С. 55–62.

131. Николаева, Т. М. «Слово о полку Игореве» : поэтика и лингвистика текста; «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты / Т. М. Николаева. – Москва : Индрик, 1997. – 336 с.

132. Орлов, А. С. Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.) / А. С. Орлов. – Москва : Имп. о-во истории и древностей Рос. при Моск. ун-те, 1902. – 50 с.

133. Пантеева, К. В. Рациональная и эмоциональная оценка: все дело в экспрессивности? / К. В. Пантеева // Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2020. – Т. 18, № 3. – С. 47–58.

134. Пауткин, А. А. Беседы с летописцем : поэтика раннего русского летописания / А. А. Пауткин. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2002. – 286 с.

135. Пиккио, Р. Древнерусская литература / Р. Пиккио. – Москва : Языки славянской культуры, 2002. – 352 с.

136. Пильгун, М. А. Средства выражения оценочности в медиатексте в контрастивном аспекте / М. А. Пильгун // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. – 2008. – № 3. – С. 21–34.

137. Пименова, М. В. Красотою украси : выражение эстетической оценки в древнерусском тексте / М. В. Пименова. – Санкт-Петербург : СПбГУ; Владимир : ВГПУ, 2007. – 415 с.

138. Попова, З. Д. Язык и национальная картина мира / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Воронеж, 2002. – 60 с.

139. Потехина, А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 3. Об изменении значения и заменах существительного / А. А. Потехина. – Москва : Просвещение, 1968. – 551 с.

140. Почепцов, Г. Г. Молчание как знак / Г. Г. Почепцов // Анализ знаковых систем: история логики и методологии науки. – Киев, 1986. – С. 90–91.

141. Почепцов, Г. Г. Молчание как речевой акт / Г. Г. Почепцов // Сборник научных трудов МГПИИЯ им. Мориса Тереза. – Москва, 1985. – Вып. 252. – С. 43–52.

142. Прокофьев, Н. И. О мировоззрении русского средневековья и системе жанров русской литературы XI–XVI вв. / Н. И. Прокофьев // Литература Древней Руси. – Москва, 1975. – Вып. 1. – С. 5–39.

143. Радионова, Е. С. Семантика и прагматика молчания / Е. С. Радионова // Язык. Человек. Картина мира. – Омск : Издание ОмГУ, 2000. – С. 179–182.

144. Ремнева, М. Л. Пути развития русского литературного языка XI–XVII вв. : учеб. пособие по курсу «История рус. лит. яз.» / М. Л. Ремнева. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 336 с.

145. Розенталь, Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов : пособие для учителя / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1985. – 400 с.

146. Рылов, С. А. Функциональная стратификация древнерусской и старорусской речи / С. А. Рылов // Вестник Нижегородского университета. Серия: Филология. – 2000. – Вып. 1 (2). – С. 187–196.

147. Сеничкина, Е. П. Семантика умолчания и средства ее выражения в русском языке : дис. ... докт. филол. наук / Е. П. Сеничкина. – Москва, 2003. – 427 с.

148. Сергеева, Л. А. Проблемы оценочной семантики / Л. А. Сергеева. – Москва : Изд-во МГОУ, 2003. – 136 с.

149. Скопич, Н. П. Соотношение двух категорий в аксиологии: «ценность» и «оценка» / Н. П. Скопич // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2007. – № 7 (7): в 2-х ч. Ч. II. – С. 155–157.

150. Скопич, Н. П. Соотношение двух категорий в аксиологии: «ценность» и «оценка» / Н. П. Скопич // Альманах современной науки и образования. – Грамота. – 2007. – № 7 (7). – С. 155–157.

151. Смирнова, Л. Г. Оценка как прагматический сигнал / Л. Г. Смирнова // Филологические науки. – 2010 – № 5-6. – С. 76–85.

152. Соколовская, Ж. П. Имена прилагательные со значением обобщенно положительной оценки в древнерусском языке / Ж. П. Соколовская // Материалы научн. конф. – Кишинев, 1971. – С. 226–227.

153. Соловьев, С. М. История России с древнейших времен. Кн. 1. Т. 1–5. История России с древнейшего периода до царствования Ивана IV. – Санкт-Петербург : Изд-во т-ва «Общественная польза», 1896. – 1726 с.

154. Солодилова, И. А. Оценка как вид когнитивной деятельности и компонент лексического значения / И. А. Солодилова // Вестник ОГУ. – 2010. – № 11 (117). – С. 86–89.

155. Творогов, О. В. Литература Древней Руси / О. В. Творогов. – Москва : Просвещение, 1981. – 128 с.

156. Толстая, С. М. Категория признака в символическом языке культуры / С. М. Толстая // Признаковое пространство культуры / Отв. ред. С. М. Толстая. – Москва : Индрик, 2002. – С. 7–20.

157. Толстая, С. М. Категория оценки в языке и тексте / С. М. Толстая // Категория оценки и система ценностей в языке и культуре / Отв. редактор С.М. Толстая. – Москва : «Индрик», 2015. – С. 11–32.

158. Толстой, Н. И. История и структура славянских литературных языков / Н. И. Толстой. – Москва : Наука, 1988. – 239 с.

159. Трапезникова, О. А. Цитата как актуализатор авторской интенции в древнерусском тексте (на материале Торжественных слов Кирилла Туровского) / О. А. Трапезникова // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2011. – Вып. 3. – С. 27–33.

160. Трофимова, Н. В. Древнерусская литература. Военская повесть XI–XVII вв. : курс лекций / Н. В. Трофимова. – Москва : Флинта, 2013. – 208 с.

161. Трофимова, Н. В. О роли повторяющихся библейских цитат в Суздальской летописи // XVI ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: Материалы 2006 г. – Москва : Изд-во ПСТГУ, 2006. –Т. 2.– С. 268–274.

162. Улуханов, И. С. О языке Древней Руси / И. С. Улуханов. – Москва : Наука, 1972. – 134 с.

163. Федоров, А. И. Фразеологический словарь русского литературного языка / А. И. Федоров. – Москва : Астрель : АСТ, 2008. – 828 с.

164. Фомина, Ю.А. Аспекты изучения языковой оценки / Ю.А. Фомина // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. – 2007. – Вып. 16, № 20 (93). – С. 149–156.

165. Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – Москва : Высш. шк., 2002. – 438 с.

166. Хоружий, С. С. О старом и новом / Сергей Хоружий. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 475 с.

167. Шаманова, М. В. Коммуникативная категория и коммуникативный концепт / М. В. Шаманова // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2008. – № 10. – С. 15–18.

168. Шафиков, С. Г. Категории и концепты в лингвистике / С. Г. Шафиков // Вопросы языкознания. – 2007. – № 2. – С. 3–17.

169. Шахматов, А. А. Повесть временных лет и ее источники / А. А. Шахматов // Труды отд. древнерус. лит. / АН СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – Т. IV. – С. 9–150.

170. Шахматов, А. А. Разыскания о русских летописях / А. А. Шахматов. – Москва : Кучково поле : Акад. проект, 2001. – 375 с.

171. Эпштейн, М. Н. Слово и молчание: метафизика русской литературы / М. Н. Эпштейн. – Москва : Высшая школа, 2006. – 558 с.

172. Akademický slovník současné češtiny. – URL: http://www.slovníkcestiny.cz/o_slovníku.php (дата обращения: 12.10.2020).

173. Bruneau, T. Communicative silences : forms and functions / T. Bruneau // Journal of Communication. – 1973. – Vol. 23. – P. 17–41.

174. Bruneau, T. Silence, Silences and Silencing / T. Bruneau // Encyclopedia of Communication Theory. – 2010. – Vol. 2. – P. 881–886.

175. Casas, Cristóbal de Las. Vocabulario de las dos Lenguas toscana y castellana. Sevilla: Francisco de Aguilar y Alonso Escribano, 1570. – URL:

<http://ntlle.DRA.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtllle?cmd=Lema&sec=1.3.0.0.0> (дата обращения: 11.08.2015).

176. Casas, Cristóbal de Las. Vocabulario de las dos Lenguas toscana y castellana. Sevilla: Francisco de Aguilar y Alonso Escribano, 1570. – URL:

<http://ntlle.DRA.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtllle?cmd=Lema&sec=1.3.0.0.0> (дата обращения: 11.08.2015).

177. Covarrubias, S. de. Tesoro de la lengua castellana o española / Sebastián de Covarrubias. – Madrid : Luis Sánchez, 1611. – URL: <http://ntlle.DRA.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtllle?cmd=Lema&sec=1.3.0.0.0> (дата обращения: 11.08.2015).

178. Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia Española. – Madrid : Imprenta de D. Gregorio Hernando, 1884. – 1124 p. – URL:

<http://ntlle.DRA.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtllle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0> (дата обращения: 20.01.2021).

179. Diccionario enciclopédico de la lengua española, con todas las voces, frases, refranes y locuciones usada en España y las Americas Españolas. – Madrid : Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, 1853. – 1058 p.

180. Discourse and Silencing / ed. L. Thiesmeyer // Discourse Approaches to Politics, Society and Culture. – 2003. – Vol. 5. – 315 p.

181. Encyclopedia of Communication Theory / ed. S. Littlejohn, K. Foss. – Texas: UNT, 2010. – URL: <https://communication.unt.edu/encyclopedia-communication-theory-volume-ii> (дата обращения: 11.03.2019).

182. Encyclopedia of Language and Linguistics / ed. K. Brown. – Amsterdam : Elsevier Science, 2006. – 1100 p.

183. Franciosini, F. L. Vocabulario español, e italiano aora nuevamente sacado a luz / F. L. Franciosini. – Roma : Por Iuan Pablo Profilio, 1620. – 784 p.

184. Girolamo, V. Tesoro de last res lenguas francesa, italiana y española / V. Girolamo. – Ginebra : Philippe Albert & Alaxandre Pernet, 1609. – 636 p.

185. Ishii, S. Silence and silences in cross-cultural perspective: Japanese and United States / S. Ishii, T. Bruneau // Intercultural communication. – Belmont : Wadsworth, 1994. – P. 246–251.

186. Jakko, L. The silent Finn revisited / L. Jakko, S. Kari // Silence: Interdisciplinary Perspectives. – Berlin : Mouton de Gruyter, 1997. – P. 263–283.

187. Jaworski, A. Silence / A. Jaworski // Encyclopedia of Language and Linguistics / ed. K. Brown. – Boston : Elsevier Ltd., 2006. – P. 944–946.

188. Jaworski, A. Silence: Interdisciplinary Perspectives / A. Jaworski. – Berlin : Mouton de Gruyter, 1997. – 416 p.

189. Jaworski, A. The power of silence: social and pragmatic perspectives / A. Jaworski. – Newbury Park : SAGE, 1993. – 208 p.

190. Jensen, Vernon J. Communicative functions of silence / J. Vernon Jensen. – ETCA Review of General Semantics. – 1973. – Vol. 30. – P. 249–257.

191. Kopylova, T. The Silence in the Eastern Slavic Model of the World: As a Concept and As a Communicative Category (Based on the Russian and Ukrainian Language Representation) [Электронный ресурс] / T. Kopylova, P. Marynenko // *Mundo Eslavo: Revista de Cultura y Estudios Eslavos*. – 2015. – № 14. – P. 51–63.

192. Kurzon, D. *Discourse of Silence* / D. Kurzon. – Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamin, 1998. – 162 p.

193. Kurzon, D. Towards a typology of silence / D. Kurzon // *Journal of Pragmatics*. – 2007. – Vol. 39. – P. 1673–1688.

194. Moliner, M. *Diccionario de Uso del Español* / M. Moliner. – Madrid : Gredos, 2000. – 1503 p.

195. Moliner, M. *Diccionario de Uso del Español* / M. Moliner. – Madrid : Gredos, 2000. – 1503 p.

196. Nebrija, A. *Vocabulario español–latino* / A. Nebrija. – Salamanca : Impresor de la Gramática Castellana, 1495. – 420 p.

197. *Nuevo diccionario de la Lengua Castellana*. – París : Vicente Salvá, 1846. – URL:

<http://ntlle.DRA.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.4.0.0.0> (дата обращения: 20.01.2021).

198. Oudin, C. *Tesoro de las dos lenguas francesa y española : thresor des deux langues françoise et espagnolle* / C. Oudin. – Paris : Marc Orry, 1607. – URL:

http://www.bvh.univtours.fr/Consult/consult.asp?numtable=B372612102_FB937&numfiche=231&mode=3&ecran=0&offset=2 (дата обращения: 20.01.2019).

199. Rosal, F. *Origen y Etimología de todos los vocables originales de la Lengua Castellana* / F. Rosal. – Madrid : Biblioteca Nacional de Madrid, 1601. – 1611 p. – URL:

<http://ntlle.DRA.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.1.0.0.0> (дата обращения: 20.01.2021).

200. Salvá, V. *Nuevo diccionario de la Lengua Castellana, que comprende la última edición íntegra, muy rectificada y mejorada del publicado por la Academia Española, y unas veinte y seis mil voces, acepciones, frases y locuciones, entre ellas muchas americanas...* / V. Salvá. – París : Librería de Don Vicente Salvá, 1844. – 1140 p.

201. Saville-Troike, M. Silence / V. Saville–Troike // The Encyclopedia of Language and Linguistics / ed. R. E. Asher, J. M. Simpson. – Oxford : Pergamon Press, 1994. – P. 3945–3947.

202. Saville-Troike, M. Silence: cultural aspects / M. Saville–Troike // Encyclopedia of Language and Linguistics. – Elsevier, 2006. – P. 379–381.

203. Saville-Troike, M. The Ethnography of Communication: An Introduction / M. Saville–Troike. – Cambridge, 1982. – 325 p.

204. Saville-Troike, M. The place of silence in an integrated theory of communication / M. Saville–Troike // Perspectives on Silence / ed. D. Tannen, M. Saville–Troike. – Norwood, 1985. – P. 3–18.

205. Słownik języka polskiego. – URL: <http://doroszewski.pwn.pl/> (дата обращения: 04.05.2014).

206. Sobkowiak, W. Silence and markdness theory / W. Sobkowiak // Silence: interdisciplinary perspectives. – Berlin, 1997. – P. 39–86.

207. Terreros y Pando, E. de. Diccionario castellano con los voces de ciencias y artes y sus correspondientes en les tres lenguas francesa, latina e italiana. T. III / Esteban de Terreros y Pando. – Madrid : Viuda de Ibarra, 1788. – 988 p.

208. Verscheren, J. What People Say They Do with Words. Norwood, NJ: Ablex, 1985. – 265 p.

209. Verschueren, J. Understanding Pragmatics / J. Verschueren. – Beijing, 1999. – 309 p.

210. Vittori, G. Tesoro de last res lenguas francesa, italiana y española / G. Vittori. – Ginebra : Philippe Albert & Alaxandre Pernet, 1609. – URL: <http://ntlle.DRA.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtllle?cmd=Lema&sec=1.1.0.0.0> (дата обращения: 13.08.2015).

211. Zerolo, E. Diccionario enciclopédico de la lengua castellana / E. Zerolo. – París : Garnier hermanos, 1895. – 477 p.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
ГЛАВА I. КАТЕГОРИЯ ЯЗЫКОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ.....	16
1.1. Понятия «стиль» и «жанр» с точки зрения синхронии и ди- ахронии.....	16
1.2. «Повесть временных лет» как источник изучения жанрово- стилистических особенностей русского языка.....	22
1.3. Устойчивые сочетания в деловых фрагментах «Повести временных лет».....	25
1.4. Устойчивые сочетания в воинских фрагментах «Повести временных лет».....	36
1.5. Устойчивые сочетания в агиографических фрагментах «По- вести временных лет».....	55
ГЛАВА II. КАТЕГОРИЯ ОЦЕНКИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ДРЕВНЕРУССКИХ ЛЕТОПИСЯХ.....	75
2.1. Летописный текст сквозь призму категории оценки.....	75
2.2. Оценочная лексика как средство смысловой организации текста «Повести временных лет».....	83
2.3. Оценочная лексика как средство концептуализации дей- ствительности в «Повести временных лет».....	96
2.4. Оценочные суждения в «Повести временных лет»: фун- кциональный аспект.....	109
ГЛАВА 3. КАТЕГОРИЯ МОЛЧАНИЯ: НАЦИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННАЯ СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ.....	122
3.1. Молчание в структуре речевого общения: история изучения.....	122
3.2. Языковая репрезентация идеи молчания в русской лингво- культуре.....	125
3.3. Общее и специфичное в структуре категории молчания.....	141
3.4. Функционирование глаголов молчания в русском языке.....	151
3.5. Преднамеренное молчание в русской и польской лингво- культуре.....	165

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	176
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И СОКРАЩЕНИЙ.....	182
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	185

Научное издание

Копылова Татьяна Рудольфовна
Килина Лилия Фаатовна
Зайнуллина Саида Радиковна

**КАТЕГОРИИ В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ:
ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ**

Монография

Авторская редакция

Подписано в печать 12.08.2025. Формат 60x84 1/16.
Усл. печ. л. 12,03. Уч. изд. л. 10,58.
Тираж 500 экз. Заказ № 1316.

Издательский центр «Удмуртский университет»
426034, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4Б, каб. 021
Тел.: + 7 (3412) 916-364, E-mail: editorial@udsu.ru

Типография Издательского центра «Удмуртский университет»
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 2.
Тел. 68-57-18